

Меж трех миров

Алекс Тарн

Меж трех миров

*Цви Прейгерзон
портрет ивритского писателя на фоне эпохи*

Введение

Меж двух миров, двух почти несовместимых галактик разрывалась на протяжении истории судьба еврейского народа: мир Традиции и мир Ассимиляции. Здесь невольно приходит на ум знаменитая пьеса Семена Анского¹, названная им «Дибук или Меж двух миров», где описывается мистический сюжет из еврейского фольклора: потерянная душа, покинувшая известный нам мир и пока еще не присоединившаяся к миру иному, скитается в промежуточном состоянии, опасном как для нее самой, так и для других, живых.

Похожая амбивалентность сопутствовала и евреям эпохи рассеяния. В отсутствие собственной страны, обычно закрепляющей идентичность народа своим земельным наделом, конкретными природными особенностями, специфической топографией и топонимикой, они могли удержаться как отдельная сущность лишь посредством культурного, бытового, религиозного обособления. Это легче сказать, чем сделать. Древняя ассирийская практика переселения покоренных племен, как правило, работала безотказно. Изгнанные в чужие пределы, народы рано или поздно растворялись в местном окружении, утрачивая связь с прежними обычаями, прежними верованиями, прежним языком. Последнее особенно важно, ведь именно язык скреплял воедино рассыпающееся, оставшееся без основы, базы, страны скопище переселенцев. В словах – устных и письменных – были закреплены и религия, и обычаи, и имена.

Вот только на новом месте властвовали другие, чужие слова, обозначавшие чужие предметы, чужие дороги, чужие реки, чужую родину, и жить отныне предстояло с ними. В прямом столкновении с местным языком у своего, принесенного издалека, было немного шансов уцелеть даже частично, отдельными понятиями и поговорками. Рассказ о прошлом бледнел и выцветал с каждым годом, в то время как чужие образы обладали зримой наглядностью, яркостью красок, свежестью ветра, неизбывной красотой жизни. Сменяли друг друга два-три поколения, и язык уходил, терялся, а с ним рушилось и все остальное здание многовековой культуры, выживая лишь в виде малых несущественных обломков: бабушкиных рецептов, дедушкиных сказок, полузабытых праздников.

Сохранение народа, оставшегося без родины, невозможно без консервации языка – именно консервации, поскольку, будучи пересаженным на другую почву, язык неизбежно проиграет соревнование местной речи. Принято думать, что евреев сохранила в изгнании их религиозная традиция. Отчасти это так, но лишь отчасти. Вне иврита исчезла бы и религиозная традиция. Правильно сказать, что народ был сохранен религиозной традицией, выраженной в родном языке. Потерянная Эрец Исраэль² оставалась нетронутой внутри иврита – всей массой своих царей, пророков, городов и дорог. Но эта сохранность стала возможной

¹ Семен Ан-ский (Шломо Рапопорт), 1863-1920, писатель, драматург, собиратель еврейского фольклора, автор знаменитой пьесы «Дибук», поставленной Е. Вахтанговым в тогда еще московском театре «Габима». (Здесь и далее – примечания автора).

² Эрец Исраэль (ивр.) – Земля Израиля, географическая область, расположенная в Восточном Средиземноморье, и в то же время – танахическое (библейское) понятие, исполненное особого духовного смысла. На части Эрец Исраэль расположено в настоящий момент Государство Израиль.

лишь в условиях герметичной замкнутости языка; в самом деле, стоило лишь слегка приоткрыть глухо запертую дверь, и туда немедленно ворвались бы чужаки.

Вряд ли решение изъять иврит из разговорной речи принималось на совете сионских мудрецов и было закреплено соответствующим протоколом. Такое предположение неправдоподобно уже хотя бы потому, что сионские мудрецы никогда не могли прийти к общему мнению даже по самым простейшим вопросам. Скорее всего, это получилось само собой: те общины, которые догадались законсервировать иврит, объявив его языком святого спецназа, уцелели. Все прочие – растворились в кислоте повседневности, присоединились к иным народам. Возможно, сейчас их потомки с криками «алла-ахбар!» кидают камни в еврейские машины на дороге из Гило¹ в Гуш Эцион² или потрясают антиизраильскими плакатами на улицах Барселоны, Марселя, Лондона и Сан-Франциско. Возможно и другое: этим потомкам глубоко наплевать на судьбу евреев; у них свои проблемы – испанские, французские, немецкие, бразильские. Так или иначе, они давно уже не с народом Израиля. Отпустив на волю иврит, они перестали быть евреями.

Законсервировавшись на два тысячелетия, иврит превратился в «*лашон ѓа-кодеш*», святой язык. Прямым следствием этого стал вакуум, возникший на месте разговорного языка. Это пространство занял у европейских евреев идиш. Можно сказать, что идиш – не совсем язык, а скорее тоска по языку. Тоска по тем временам, когда «*маме лошен*» (материнский язык, идиш) и «*лашон ѓа-кодеш*» (язык святости, иврит) были единым целым. Забегая вперед, отметим, что это стало возможным лишь в Эрец Исраэль.

Вокруг иврита, а также написанных на нем (и близком к нему арамейском) повседневных молитв и установлений, на Торе, Талмуде и мощном корпусе религиозно-философских трудов мудрецов многих поколений, как вокруг незыблемого гранитного архипелага, и строился мир еврейской Традиции. Мир не только самодостаточный и сложный, но и принципиально замкнутый вследствие вышеупомянутой консервации своего основного носителя, не говоря уже о декларируемой им идее Единого, неудобоваримой для обыденного сознания, которое предпочитает ориентироваться на видимую множественность окружающей реальности.

Впрочем, самодостаточность мира Традиции всегда выглядела проблематичной. Необходимость выживать в чужих общественных, социальных, культурных рамках диктовала неизбежную интеракцию с окружением. Торговая, промышленная, финансовая активность естественно тяготеет к экспансии, отрицая рамки и ограничения. Мир других казался полным соблазнов и безумно интересным уже в силу своей инакости. Кроме того, мировосприятие, основанное на принципе Единства мира, заведомо настроено на поиск связей между явлениями – всеми, в том числе, и чужими.

Увы, чужие принимали евреев не иначе как на своих условиях – да и могло ли быть иначе? Если уж ты помираешь от любопытства узнать, что происходит

¹ Гило – район столицы Израиля Иерусалима.

² Гуш Эцион – район еврейских поселений к югу от Иерусалима, между Бет-Лехемом (Вифлеемом) и Хевроном.

внутри монастыря, то вряд ли следует соваться туда со своим уставом. Тут уже хочешь – не хочешь, но оденься соответствующе, войди, как все, стой, где скажут, пой, что поют, ешь, что дают... – иными словами, приспособься, стань подобным остальным, ассимилируй.

Но, ах! Ах, если бы вышеописанный процесс «входа в чужой монастырь» был только таким, сугубо добровольным, продиктованным исключительно любопытством или соображениями выгоды... Сплошь и рядом туда вталкивали силой, наконечниками копий, под угрозой немедленной смерти, когда за спиной дымились развалины домов и валялись истерзанные трупы тех, кто не согласился – вернее, *не успел* согласиться. В таких случаях ассимиляция была вынужденной, за отсутствием иного выхода. Так, в течение всего лишь двух с половиной десятилетий, начиная с 1391 года, «ассимилировали» более полумиллиона испанских евреев – число огромное по тем временам. Часть из них были сожжены потом на кострах инквизиции, но потомки тех, кому удалось выжить, населяют теперь не только Пиренейский полуостров, но и обе Америки, ничем не отличаясь от других испаноязычных католиков.

Конечно, меж двух этих полюсов – полной замкнутости в мире Традиции или безвозвратного ухода в мир Ассимиляции существовал целый набор промежуточных вариантов – в зависимости от того, в каких исторических условиях пребывала каждая конкретная еврейская община или даже каждый конкретный еврей. Меж двух этих миров, как мистический фольклорный дибук¹, пребывал в течение двух тысячелетий еврейский народ в целом и каждая еврейская душа в отдельности.

Трудно сказать, какая именно крайность больше способствовала антисемитизму. Да, евреев постоянно упрекали за то, что они *другие*. Но, как показывает история, именно ассимилянты, вселявшиеся, подобно дибuku, в тело окружающего народа, отчего тот принимался, как в пьесе Ан-ского, говорить их голосом и вести себя иначе, – именно они обычно становились причиной самых яростных антисемитских кампаний: от погромов эллинизированных иудеев в Египте I в.н.э. и резни марранов² в Кастилии XV в. до нацистского «окончательного решения» и советского «дела врачей» в веке только что минувшем. Но и полная замкнутость, как известно, не спасала от топора погромщика. Так продолжалось до самого начала XX века, когда нежданно-негаданно на картине появился третий полюс, третья вершина, разом изменившая весь прошлый расклад: Сионизм.

Судьба и творчество Цви-Гирша (Григория Израилевича) Прейгерзона замечательно отразили эту важнейшую перемену в истории евреев и – учитывая их (евреев) беспрецедентное влияние на Западную цивилизацию – всего человечества. О нем – Цви Прейгерзоне, уроженце традиционного местечка, советском ученом, ивритском писателе-сионисте, уникальным образом совместившем в себе все три вышеупомянутых полюса, и написана эта книга.

¹ Дибук – душа умершего, застрявшая меж двух миров; понятие мистического еврейского фольклора.

² Марраны (от староиспанского маррано – свинья) – потомки испанских евреев, принявших крещение в XIV-XV вв.

Волынь

Цви-Гирш Прейгерзон родился 26 октября 1900 года в местечке Шепетовка, на Волыни. Его отец Израиль (1872-1922), уроженец другого волынского городка Красиллов, производил свою фамилию от слова «прейгер» – пражанин, выходец из Праги. Какая именно Прага имелась при этом в виду – чешская, императорская, или более близкая, варшавская – так и осталось невыясненным. Обе – и бывшая столица Священной Римской империи, и скромный правобережный район Варшавы – располагали (сейчас об этом говорится именно так, в прошедшем времени) заметными еврейскими общинами.

Мать Рахиль (1872-1936), урожденная Гальперина, происходила из знатного хасидского¹ (ХАБАД²) рода Дов-Бера Карасика, видного законоучителя, раввина города Кролевец (Сумская губерния). Зятем рава Дов-Бера (и ровесником Рахили) был знаменитый раввин города Москвы рав Шмер-Лейб Медалье, расстрелянный чекистами в 1938 году.

С Волынью, древней областью на северо-западе Украины, связано многое в еврейской истории. Евреи селились тут с XI века, придя в эти места с двух сторон: из Хазарии, через Киев, и из разгромленных крестовыми походами рейнских общин Ашкеназа (Германии). Занимались они преимущественно торговлей, ремеслами, сельским хозяйством и винокурением. Торговые связи с Востоком, Средней Азией и Китаем были налажены здесь еще со времен Хазарского каганата; главными партнерами с другой, польской, прусской и германской стороны служили города Ганзейской лиги³ – преимущественно, Данциг с его масштабной оптовой ярмаркой.

Расцветом волынского еврейства, его Золотым веком, принято считать период с середины XVI по середину XVII века – от присоединения этой области к польской короне в 1569 году до жуткой резни, учиненной казаками Хмельницкого в проклятом 1648-ом. Как известно, в то время евреи, чьи податные сборы являлись основным источником дохода короля и шляхты, пользовались широкими правами и привилегиями – вплоть до самоуправления. Власть не вмешивалась в дела общин, позволяя им самостоятельно ведать вопросами повседневной жизни – от коммунальных и обрядовых услуг до мирового суда.

Бесперебойно работала древняя система народного образования: хедеры и ешивы обеспечивали почти поголовную грамотность – невероятное достижение в окружавшем их мире тотального невежества. Центральное руководство и координацию действий обеспечивал так называемый «Ваад четырех земель» – орган, составленный из самых авторитетных раввинов и мудрецов. Четыре земли здесь – это Великая Польша (западная ее часть, со столицей в Познани), Малая Польша (восток страны, представленный Краковом), Червонная Русь (Подолія и Галиция с центром во Львове) и, конечно, сама Волынь с несколькими центрами

¹ Хасиды – представители хасидизма, религиозного движения части восточно-европейского еврейства, возникшего во второй половине XVIII века.

² ХАБАД (ХАБАД – Любавич) – одна из наиболее влиятельных и многочисленных ветвей хасидизма, созданная в 1772 году Старым Ребе – рабби Шнеуром Залманом из местечка Ляды.

³ Ганзейская лига – торгово-экономический союз, объединявший около 300 городов северо-западной Европы.

торговли, ремесел и учености (Владимир-Волинский, Луцк и Кременец на западе и Острог на востоке).

Ваад собирался дважды в год: на ярмарках в Люблине (ранняя весна, между Пуримом и Песахом) и в галицийском Ярославле (летом). Помимо административных, финансовых и благотворительных функций, Ваад четырех земель играл роль верховного и апелляционного суда, назначал мировых судей и разбираал особо сложные дела.

В те годы Волинь процветала. Нас особенно интересует город Острог, расположенный всего в двадцати верстах от Шепетовки, где родился герой этой книги. Ешивы¹ и синагоги Острога славились на всю Европу и были предметом гордости местных евреев. Светоч учености и культуры, Острог воспитал немало выдающихся раввинов и великих законоучителей. С ним связаны действительно чрезвычайно громкие имена.

Здесь работал рав Исаяя Галеви Горовиц (1555-1630), известный еще под именем «Святой Шела», автор книги «Две скрижали завета», похороненный впоследствии в Тверии рядом с великим Рамбамом.

Здесь жил и умер рав Шмуэль Элиэзер Эйдельс (1555-1631), именуемый Махарша, чьим потомком стал знаменитый Бердичевский рабби – рав Леви Ицхак, один из столпов хасидизма. Значение этого раввина и написанных им толкований к Талмуду оценивается так высоко, что сам Острог стали называть после его смерти «городом Махарша». Здесь основал свою ешиву выдающийся законоучитель Давид Галеви Сегаль (1586-1667), автор труда «Золотые столбцы» – книги комментариев к «Шулхан арух»².

Руководил Острожской ешивой и рав Соломон Лурия (1510-1573), известный еще как Магаршал – один из самых великих талмудистов XVI века, главный раввин Волини, разработавший и внедрявший собственный метод трактовки и анализа священных текстов. Главой Острожского суда был рабби Нафтали ГаКоген Кац (1649-1718), известнейший каббалист и ученый, автор нескольких важнейших трактатов.

Позже, уже в период хасидизма, здесь жил «гений из Немирова» – рабби Натан Штернгарц (1780-1844), называемый еще Реб Носон – ученик и главный сподвижник рабби Нахмана, основателя бреславского хасидского двора. Главным раввином Острога был ученик великого Бешта рабби Меир Маргалит (1707-1790). Здесь же основал свою хасидскую династию рабби Яков Йосеф, ученик знаменитого раввина Дова Бера из Межибожа.

Столь подробное – хотя и всего лишь частичное – перечисление этих имен призвано дать хотя бы примерное начальное представление о масштабе этого центра еврейской мысли. К сожалению, слова «местечко», «местечковый», «местечковость» принято произносить в так называемой «интеллигентской» русскоязычной – в том числе и еврейской – среде с пренебрежительной интонацией, презрительно наморщив нос и оттопырив губу. А ведь скромное местечко Остров ничуть не уступало по уровню своего ученого потенциала ни Сорбонне, ни Саламанке...

¹ Ешива – высшее еврейское духовное заведение.

² «Шулхан арух» (ивр., накрытый стол) – сборник главных практических повседневных наставлений иудаизма, составленный в XVI в. раввином Йосефом Каро.

Сабли погромщиков и убийц подрубили под корень это великолепное, уникальное по своим возможностям древо, обещавшее свет знания и добра, экономическое и культурное процветание отнюдь не только евреям Польши. За садистскими ужасами Хмельниччины последовали казачьи бунты 1702 года, когда евреев убивали и бандиты, и посланные на их усмирение отряды польского короля. Затем разразилась Северная война; через Волынь, сея разрушение и смерть, волнами прокатывались русские, польские, шведские, украинские войска. Затем настало время гайдамаков – безжалостных грабителей и убийц. Золотой век Волыни сменился веком непрекращающегося кошмара, веком резни, насилия, мучительной гибели.

Из этой кровавой ямы всеобщей ненависти еврейство Волыни уже не смогло подняться. Зачахли, измельчали ремесла и торговля, возможные гении учености нескольких поколений, не успев написать ни строчки, ложились в волынскую землю, затоптанные сапогами губителей. Ждать спасения было неоткуда: грубые руки вытаскивали на расправу из подземных укрытий, сталкивали с чердаков, жгли в домах и синагогах. Лишь одно, как и прежде, удерживало обезумевший от тягот и напастей народ от полного распада на отдельные обломки, катящиеся в беспомощности куда глаза глядят – Традиция.

В таком вот промежуточном, затаившемся, убогом состоянии, без надежды и движения незаметно прошелестели полвека, и еще век. Такой и застал родную Волынь ровесник XX столетия еврейский мальчик Цви-Гирш Прейгерзон. Вот как он описывает свою Шепетовку:

Душа народа теплилась тогда в синагогах, в почитании субботы, в ежедневных молитвах: утренняя шахарит, дневная минха, вечерняя маарив, и снова шахарит, и снова минха, и снова маарив... С тремя ежедневными трапезами впитал я трепет иудейства, навсегда отравивший мою детскую душу. Помню хасидов, которые, сидя в кружке, распевали печальные мелодичные песни. Помню детскую свою уверенность, что именно они, эти песни, эти сердечные искренние молитвы, летят сквозь колышущуюся парохет¹ прямиком в уши Всемиловейшего Создателя. Вечер вползал в дом, в низенькие закопченные окна, мелкими шажками продвигался по комнате, прятался в темных углах. Там, в углах, пустопорожняя будничная суета превращалась в глубокую вечернюю тоску, накрывающую мир своими перепончатыми крыльями. Но тут вдруг вставал со скамьи портной реб² Эзриэль, смуглый еврей с седой бородой – вставал, и хлопая в ладоши, пускался в пляс. А за ним – реб Пинхасль, а за тем – реб Шмельке. Топ... топ... – и вот уже все они топчутся в круге, и поют, и хлопают, и танцуют.

Как раненое животное в преддверии смерти защищает своего детеныша, так пестовало меня это уходящее поколение, с ревностным вниманием отслеживая каждый мой шаг. Культура древних традиций, праздников, постов, поминовений жила бок о бок со мной, готовясь поглотить меня без остатка. Какие только иудейские формы и ритуалы не оставили отпечатка в моей душе... В хедере³ я

¹ Парохет – занавесь, закрывающая шкаф со свитками Торы.

² Реб – уважительное обращение к еврею, отцу семейства.

³ Хедер – начальная школа в традиционной еврейской системе образования.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

заучивал жгучие слова Торы, резник¹ Хаим показал мне, малому мальчику, тропы и дороги Талмуда...

(из рассказа «Мой первый круг»)²

И еще о местечковом хедере, слабом огарке свечи, освещавшем еврейским детям путь в непроницаемой ночной мгле:

О, Песах, мой учитель и ребе! В те далекие печальные годы учился и я в его тесном хедере – пером, как резцом в камне, высекал ивритские слова, бусинками нанизывал букву за буквой и бережно укладывал их в свою тетрадь, в длинные наклонные строчки. Учился читать древние сказания хуммаша³ и переводить их на идиш. Шеилка Горовец был тогда моим другом, и мы вместе несли на своих детских плечах груз предыдущих поколений. Мы жили на одной улице, и вместе возвращались домой зимними вечерами. Под ногами скрипел снег, плотно покрывавший деревянный тротуар, и слабое пятнышко света нашего фонаря освещало нам крошечный кусочек дороги. Едва теплился огарок свечи, и в дрожащем его отблеске мы с трудом находили свой путь. Ночь, крошечная ночь, окутывала нас непроницаемой мглой...

(из «Неоконченной повести»)⁴

Новые веяния

Впрочем, помимо Традиции, было еще кое-что: Хаскала (зародившееся в Германии движение еврейского просвещения и ассимиляции, во многом противопоставлявшее себя Традиции), а затем уже – сионизм и социализм в разных его изводах.

Основателем и духовным отцом Хаскалы считается Моше (Мозес) Мендельсон (1729-1786), родившийся в саксонском городке Дессау, к северу от Лейпцига. Получив традиционное еврейское образование, он впоследствии увлекся идеями мыслителей Просвещения (Лейбниц, Спиноза, Руссо и др.), после чего подвергся сильному влиянию немецкого философа-просветителя Готхольда Лессинга. Последний полагал, что евреи должны быть полностью ассимилированы немецким обществом и в конечном счете ничем не отличаться от среднестатистических немцев.

Мендельсон был менее радикален. Он считал, что евреи вправе сохранить некоторую национальную специфику, а также могут продолжать исповедовать иудаизм, желательно – на рационалистической основе, исключив из него мистику и «отжившие» установления. Но умеренность «духовного отца» была ровно тем случаем, когда увязший коготок ведет к гибели всей птички. Берлинские

¹ Резник – назначенный общиной человек, занимавшийся кошерным (то есть соответствующим правилам религиозных установлений) забоем скота и птицы.

² Здесь и далее, если не указано иначе – перевод с иврита Алекса Тарна.

³ Хуммаш (ивр.) – Пятикнижие.

⁴ «Неоконченная повесть», перевод с иврита здесь и далее – Вениамина Прейгерзона, сына писателя.

последователи Мендельсона пошли по пути полного отказа от Традиции; его собственные дети (четверо из шести) крестились, едва схоронив папу...

И в дальнейшем на знамени Хаскалы красовалось ключевое слово Ассимиляция; когда – в полный размер, огненными буквами, затмевающими все прочие детали, когда – скромнее, стыдливее, в уголке, прячась за другими – несомненно, важными и красивыми лозунгами. Большинство немецких, французских, бельгийских, голландских, английских евреев двинулись в то время по дороге, проложенной новым Мозесом-Моисеем сквозь расступившееся – как им казалось – море антисемитизма. Бодро маршировали они вперед, к новой жизни в качестве равноправных граждан Европы, презрительно оглядываясь назад, на погрязших в убогой «местечковости» остюден¹ – галицийских, подольских, волынских евреев, пока еще цеплявшихся за Традицию. Кто же мог тогда предполагать, что ассимиляция породит еще больший антисемитизм, что море сомкнется на полпути, похоронив под волнами не колесницы фараона, а выкрестившихся потомков прадедушки Мозеса...

Но вернемся в Волынь. Любопытно, что первый российский Мендельсон появился именно там, хотя логичнее было бы ожидать его в более «культурном» месте. Скажем, в каком-нибудь крупном городе черты оседлости – Одессе, Киеве, Минске... Или даже в императорской столице – Петербурге или Москве. Хотя туда евреев и не пускали, но при известном старании это препятствие обходилось посредством крещения или очень больших денег. Ан нет. По иронии судьбы отец-основатель российской Хаскалы – а звали его Ицхок-Бер Левинзон (1788-1860) – родился и умер именно на Волыни, в местечке Кременец, упомянутом выше как один из старинных центров еврейской Традиции.

Как и его германский прототип, Левинзон получил традиционное еврейское воспитание, а затем самостоятельно знакомился с общеевропейской литературой и идеями Просвещения. Как и Мендельсон, он не требовал вовсе порвать с многовековым культурным багажом своего народа. Главные обвинения реб Ицхок-Бер адресовал хедеру – основному звену еврейской системы народного образования. Он называл эти школы «хадрей мавет» – комнаты смерти и призывал изучать не только и не столько Талмуд, сколько грамматику иврита, другие языки и общеобразовательные дисциплины.

Как и Мендельсон, Левинзон видел в идише язык обособления и замкнутости, тормозящий процесс вступления народа на столбовую дорогу европейской науки и культуры. Идиш, по его мнению, должен был исчезнуть, умереть, уступив место языку близкого окружения, то есть русскому (в Германии – немецкому). Как и Мендельсон, Левинзон активно сотрудничал с властями, представив наместнику Польши великому князю Константину (а затем министру просвещения и под конец – самому царю Николаю I) детальную программу преобразования образа жизни погрязших в пучине невежества соплеменников.

Программа предусматривала упразднение хедера и замену его начальными школами с профессиональным обучением и преподаванием на русском языке. Евреев предполагалось отвратить от мелочной торговли и разрешить им землевладение и занятие сельским хозяйством. Для уменьшения

¹ Остюден (нем.) – восточные (то есть восточно-европейские) евреи.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

всеобъемлющего влияния хасидских цадиков¹, Левинзон предлагал введение жесткой правительственной цензуры на книги, издаваемые и печатаемые в еврейских типографиях.

На этом сходство судеб двух просветителей кончалось. В отличие от Германии, где уважение к идеологам и философам неплохо конвертировалось в презренный металл, Россия не торопилась материально поддерживать отечественных просветителей. Это было тем более странно, что, в общем, направление усилий Иццока-Бера Левинзона полностью совпадало с желанием властей максимально интегрировать евреев в российское общество. Видимо, царь и его правительство предпочитали школам и ремесленным училищам более радикальные меры, уповая на систему кантонистов², военные интернаты и армейскую муштру. Так или иначе, Левинзон жил и умер в полной нищете.

Однако написанные им (преимущественно на иврите) сочинения – книги, статьи, сатирические памфлеты и стихи оказали серьезное влияние на несколько поколений еврейских просветителей и литераторов. К началу XX века книжные шкафы российских, галицийских, бессарабских, прибалтийских евреев были заполнены отнюдь не только талмудическими текстами.

...в доме реба Пинхасля ждали меня подшивки альманаха «Шилоах». От своего отца, от длинной цепочки предков и поколений унаследовал я неистребимую тягу к письменному слову.

Книги поселили в моей детской голове воспоминания о древних временах; образы дальних стран и великих событий полностью захватили мое воображение. Перед моим мысленным взором простирались песчаные пустыни; полы белых шатров колыхались на ветру, как крылья диковинных птиц; в жилах моих вскипала кровь диких племен, вышедших на завоевание Ханаана³. Этот удивительный мост между покорителями Ханаана и скромным евреем из убогого местечка выстроила тогда новая ивритская литература. Именно она смогла связать мой крохотный местечковый мирок с мощным, уходящим корнями в глубину веков, древом умерших, но продолжающих жить в слове поколений. Литература открыла мне новый огромный мир – мир, по праву принадлежащий мне и таким, как я, – и мне оставалось лишь радостно броситься туда, погрузиться в книги всем своим существом. Я был счастлив представить себя малым звеном великой цепи, ощутить на себе ее неимоверную тяжесть. Я смотрел на тех, кто отказывался подставить плечи под ту же ношу, как на предателей, отступников, отщепенцев-мешумадов⁴. Я видел в них отребье мира, позор поколения, мерзость сточных канав.

¹ Хасидские цадик (ивр.) – праведники, авторитетные раввины, духовные вожди, вокруг которых создавались религиозные хасидские общины (хасидские дворы).

² Кантонисты – так назывались молодые люди (временами мальчики или подростки), ежегодно забираемые в царскую армию из еврейских местечек. На родину они обычно не возвращались, многие подвергались крещению, поэтому уход сына в кантонисты приравнивался к смерти. Требование отдавать в армию кантонистов рассматривалось евреями как жесточайшая повинность. Введено в 1805 году Аракчеевым, отменено в 1856-ом указом Александра II.

³ Ханаан – название Эрец Исраэль до ее завоевания вышедшими из Египта еврейскими племенами.

⁴ Мешумад – выкрест, отказавшийся от своей веры.

(из рассказа «Мой первый круг»)

С реализацией другой мечты Левинзона – заменой старых хедеров светскими общеобразовательными школами дело обстояло не так гладко. Спрос на школы, конечно, был – и немалый. Находилось и достаточное количество энтузиастов-просветителей, организаторов, учителей. Проблема была прежде всего в получении соответствующего разрешения. Как местные, так и центральные власти смотрели на новые веяния с подозрением: практический опыт показывал, что хорошо образованный еврей представляет собой, как правило, разносчика социалистической крамолы.

Тут следует сказать, что подобное положение дел возникло не без вины самих российских правителей, жестко ограничивавших возможности поступления евреев в гимназии и университеты. Стремившимся к получению образования еврейским подросткам и молодым людям не оставалось иного выбора, как отправляться за границу, в учебные заведения Швейцарии, Германии, Италии, где они сталкивались с совершенно другим, немыслимым для России уровнем вольнодумства. Неудивительно, что новоиспеченные бакалавры, магистры и доктора возвращались в родные пенаты законченными социалистами.

Исайя Берлин¹ тонко заметил в свое время, что на традиционной, никогда не характеризовавшейся идейным разнообразием российской почве новые идеи неизбежно приобретали размах, отнюдь не предусмотренный их европейскими авторами. И дело тут вовсе не в бескрайних просторах страны или в загадочной славянской душе. Просто на Западе любая идея еще на начальном этапе встречала достаточно много задорных оппонентов противоположного толка; в России же, в силу скудости местного идейного пейзажа, ничто не мешало тому или иному идеологическому или философскому птенцу вымахать до размеров огромного хищного птеродактиля. Так что, в принципе, подозрительность царских чиновников в отношении еврейского образования можно понять – особенно, в свете дальнейших событий. Хотя, с другой стороны, власти сами навлекли на себя эту беду, закрывая евреям дорогу в относительно благонравные учебные заведения России.

Особенно тяжелыми для евреев были ограничения в получении образования. Родители тревожились за судьбы детей и не могли не задаваться вопросом: что ждет их в будущем? Врачи, адвокаты, инженеры и другие люди, имевшие высшее образование, казались простым евреям существами высшей касты. В еврейских местечках именно они являлись примером для подражания. Поэтому очень и очень многие мечтали прежде всего отправить сына или дочь в гимназию, а затем, если повезет, то и в университет.

Случалось даже, что ради этого меняли религию. Хотя это происходило все же нечасто: община, родные и самые близкие люди откровенно презирали выкрестов, и последним приходилось рвать корни, связывавшие их с собственной семьей, со своим народом. Но может ли человек жить без корней? Выкресты пытались – зачастую неудачно – прижиться на чужой почве, стать своими в другом

¹ Исайя Берлин (1909-1997) – английский философ и культуролог.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

народе, который вовсе не торопился принимать в свое лоно чуждых и неприятных ему людей с их неистребимым акцентом, непонятными привычками и прочими характерными признаками инородства. Оставив один берег, они так и не приставали к другому, а потому трудно приходилось выкресту в России.

Выход нашли в открытии частных гимназий и школ; впрочем, право на это тоже имели далеко не все. Большинство учеников в этих новооткрывшихся учебных заведениях составляли евреи. Кроме того, в каждом городе и местечке находились частные преподаватели – тоже преимущественно евреи, которые обучали еврейскую молодежь в соответствии с программами реальных школ и гимназий.

(из «Неоконченной повести»)

Именно это и произошло в маленькой Шепетовке. Вот как описывает Цви Прейгерзон открытие (и последующее закрытие) тамошней светской школы:

...арендовали большое трехкомнатное помещение, заказали у столяра скамьи для учеников – одну на двоих – невиданная роскошь. Из большого города приехали учителя – Барух и Хана Шкловские и привезли с собой пианино. Хана играла Листа, Чайковского, а также душевные еврейские мелодии... В классе помещалось около двадцати мальчиков десяти-двенадцати лет. На стене висела доска; учительница и ученики писали на ней мелом слова на иврите. На этом же языке велось и все обучение. Это было новым для нашего городка – детскими устами происходило возрождение древнего языка.

В первые годы, когда новому-старому языку надо было застолбить место под солнцем, его брату – идишу пришлось слегка потесниться. Это вызвало немедленные раздоры между приверженцами двух языков – речь шла о борьбе за существование. Мало-помалу возрождаемый иврит стал потихоньку укореняться среди еврейской молодежи.

Барух и Хана Шкловские как раз и были такими преданными ивриту первопроходцами, учениками Элизера Бен-Иегуды, одного из самых выдающихся борцов за возрождение разговорного иврита. Барух Шкловский умел ладить с учениками. Он никогда не повышал голоса и, тем не менее, без особых усилий мог поддерживать дисциплину в классе. Здесь учили иврит, грамматику и Танах, а также математику, природоведение и музыку.

...уроки велись по заранее разработанной программе, на каждый день недели имелось четкое расписание. Занятия начинались в девять утра и продолжались до трех. В перерывах дети играли во дворе... Учителя устраивали экскурсии на природу... Хана знакомила детей с миром растений. На поляне разводили костер, трапезничали, пели песни на иврите. Лес вокруг слушал и удивлялся: этот язык не звучал здесь с самого сотворения мира...

Число учащихся постепенно росло; вскоре открылся класс и для девочек. Но власти отнеслись к новой еврейской моде подозрительно. Взятки не помогали: всем так или иначе ручку не позолотишь – над исправником стоял пристав, над приставом – еще кто-то, дальше – чиновники еще более высокого ранга. В

Меж трех миров

результате была отправлена кляуза в городскую управу, затем донос в Петербург, и школу закрыли по приказу высокого начальства.

Ходили упорные слухи, что из-за кляузы торчат уши местных традиционных меламедов¹. Новая школа представляла для них нешуточную конкуренцию, а чего не сотворишь ради заработка?

Итак, школа закрылась. Шансов попасть в русскую гимназию практически не существовало. Что оставалось делать?

(из «Неоконченной повести»)

В самом деле – что?

Эрец Исраэль

Уже процитированная здесь «Неоконченная повесть», содержащая, как и почти все тексты Прейгерзона, детали его собственной биографии, во многом носит подчеркнуто документальный характер. Сейчас уже трудно сказать, соответствовал ли этот текст окончательным намерениям автора или был первоначальным наброском, подлежащим последующей переработке. Известно лишь, что он замышлялся как вступительная часть монументальной эпопеи «Врачи», которая должна была во всех подробностях отразить нелегкую судьбу поколения писателя, начиная с рубежа веков до инспирированного Сталиным «дела врачей». Преждевременная кончина Прейгерзона помешала ему выполнить задуманное.

Тем не менее, даже в этом незавершенном виде «Неоконченная повесть» представляет собой ценное историческое свидетельство непосредственного участника событий. Вот что пишет Цви Прейгерзон о выборе, стоявшем в те годы перед молодежью местечек:

Еще в конце предыдущего столетия среди евреев приобрели популярность две соперничающие идеологии – национальное движение и социализм. Молодых людей не устраивал традиционный религиозный подход, призывающий к смирению перед дискриминацией и жизненными невзгодами, когда истинное избавление от страданий становится возможным лишь после прихода Мессии. Верующий человек веками возлагал надежды на Господа – ведь это давало надежду и помогало терпеть. Но молодые евреи желали освободиться от горестей еще в этом мире – а социализм и сионизм обещали им именно это.

Первый, социалистический, путь привлек немало молодежи, увлеченной левыми лозунгами равноправия, которое, как предполагалось, должно было наступить сразу после свержения царского режима. Но и программа сионистов выглядела заманчиво для многих евреев – молодых и пожилых, богатых и бедных. Люди надеялись укрыться от жизненных тягот в стране света и надежды; ради этого они готовы были на все – даже на потерю разговорного языка. Так началась непримиримая конкуренция красного цвета с белоголубым. Власти со своей

¹ Меламед (ивр.) – учитель в хедере.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

стороны не доверяли ни тем, ни другим: жестоко расправляясь с социалистами, они косо поглядывали и на сионистов.

В те времена на огромном российском пространстве действовало много разных сионистских организаций. Работало сионистское общество и в нашем городке... Собирались членские взносы, проводились собрания, работала библиотека с художественными и национальными по содержанию книгами на иврите и на идише. В городке то и дело выступали со своими лекциями приезжие сионистские деятели. Ведь большинство евреев хотели бы оказаться в стране, где нет дискриминации, где есть возможность заработать на нормальную жизнь. Одни эмигрировали в Америку, другие уезжали в Палестину¹, чтобы создавать там новые поселения.

(из «Неоконченной повести»)

Здесь следует отметить два важных момента.

Во-первых, ясно, что движущим мотивом еврейской молодежи было стремление к «нормальной жизни» – прежние условия, жестко определяемые рамками Традиции, выглядели к тому времени ненормальными, категорически неприемлемыми. Это – и только это стремление светилось в глазах шепетовских юношей и девушек, когда они приходили на очередную лекцию очередного заезжего агитатора того или иного толка. Агитатор же видел перед собой настоящую *tabula rasa*, то есть совершенно необработанную, девственную с идейной точки зрения почву, которую можно было засеять семенами любой идеологии. Поэтому конечное решение молодого слушателя становилось во многом результатом набора случайностей: ораторского таланта лектора, уровня его демагогии, сиюминутного настроения аудитории...

Во-вторых, подоплекой выбора между двумя новыми «соперничающими идеологиями», была все та же старая дилемма – Традиция vs Ассимиляция. Это еще не осознавалось многими участниками событий – даже теми, кто вещал тогда с лекторских кафедр. Сионизм и социализм ставились наравне, рассматривались как соперники одного и того же забега, что, вообще говоря, было далеко от истины.

Если понимать под «идеологией» систему идей, описывающую модель идеального общественного устройства и стремящуюся привести реальное положение вещей в соответствие с этой моделью, то сионизм, в отличие от социализма, никак не подходит под это определение. Его единственным предметом, целью и устремлением было и остается национальное еврейское государство, призванное избавить народ от проклятия двухтысячелетнего гостевания на чужой земле. Вопрос общественного устройства сионизмом как таковым не рассматривается вовсе. Именно эта принципиальная не-идеологичность стала причиной безболезненного (по крайней мере, на первых порах) сочетания сионизма с самыми различными «настоящими» идеологиями (либерализма, социализма, клерикализма, традиционализма и проч.).

¹ Палестина – оккупационный топоним, введенный римлянами после подавления восстания Бар-Кохбы во II в.н.э. наряду с другими переименованиями (Иерусалим стал зваться Элия Капитолина, Шхем – Неаполис и т.д.). Топоним Палестина должен был по замыслу римлян сменить названия «Иудея» и «Эрец Исраэль».

В то же время, лежащий в основе идеологии социализма марксизм всем строем своим космополитичен, концентрируется на классовой структуре общества и полагает национальные особенности досадной помехой на пути к всеобщему счастью объединенных пролетариев всех стран. Вслед за апостолом Павлом, провозгласившим, что «нет ни эллина, ни иудея... но все и во всем Христос»¹, социализм отменял национальности в пользу выбора правильной классовой стороны. Трудно было сыскать более многообещающий подход для гонимых и дискриминируемых по национальному признаку. Не хочешь быть добычей для погромщиков и громоотводом для сильных мира сего? Крестись! Запишись в христиане! Или – в варианте социалистического крещения – запишись в пролетарии, встань под знамена рабоче-крестьянского движения.

В обоих случаях, в обеих разновидностях крещения речь шла, таким образом, о прекращении еврейства, то есть об ассимиляции.

Выше этот подход назван самым многообещающим. Это действительно так: обещает он много. Вот только исполняются ли эти обещания на практике? Сионистские агитаторы с сомнением покачивали умными головами, приводили примеры из истории – благо, таковых накопился воз и маленькая тележка – но благосклонность большинства все равно склонялась к социалистам. Эрец Израэль далеко, а партия Бунд, эсдеки, эсеры, большевики, меньшевики – вот они, здесь, под рукой, со светлым будущим у Карла Маркса за пазухой.

Возможно, и наш герой облачился бы через пять-шесть лет в черную комиссарскую тужурку, если бы не Его Величество Случай, чрезвычайно кстати закрывший волею пристава частную гимназию в Шепетовке. По другому – совсем уже необыкновенному стечению обстоятельств – дошла до волынского местечка весть от одесских родственников: благотворительные сионистские органы собирают в Одессе группу подростков для отправки в Эрец Израэль, на учебу в первой в мире школе с преподаванием на иврите! Школа называется «Ивритская гимназия Герцлия» и расположена она в новеньком, с иголки, еврейском городе по имени Тель-Авив, четырех лет от роду – тоже первом в мире, если брать во внимание только последние девятнадцать веков. Не хотят ли родители Цви-Гирша попытать счастья?

Для тринадцатилетнего мальчугана, в жизни не выезжавшего из своего Богом забытого местечка, это звучало слишком невероятно, чтобы оказаться правдой. В самом деле: где Шепетовка – и где Одесса, не говоря уже о Земле Обетованной! И, кроме того, наверняка есть миллион желающих попасть в заветный список; сколько их, таких вот мальчуганов, на Волыни и в Подолии, в Полесье и Буковине, в Галиции и Бессарабии, в Киеве и в Одессе, в Варшаве и в Люблине... Велика ли вероятность выиграть в эту чудесную лотерею?

Но, вот ведь чудо какое: в конце лета мальчик стоял в числе других учеников «Герцлии» – новоиспеченных и возвращавшихся после каникул – на палубе парохода «Иерусалим» Русского Общества Пароходства и Торговли (РОПиТ) на прямой линии Одесса – Яффо. Дети ехали без родителей, в сопровождении молодого педагога Израэля Душмана (1884-1947), одного из первых ивритских учителей в Эрец Израэль, впоследствии известного литератора,

¹ Послание к Колоссянам, 3:11

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

поэта и драматурга, преподававшего в гимназии с самого ее начала и до последних дней жизни.

Пароход медленно отходит – все дальше, дальше... вот уже почти не различить провожающих, вот уже и сама Одесса остается вдалеке, еще немного – и Россия исчезает за горизонтом.

Теперь вокруг – лишь море, солнце и синева, облака и звезды. Пароход останавливается в Куште¹, Измире, Салониках, на греческих островах, в Бейруте. На лодках подплывают мелкие торговцы, карабкаются на борт, наперебой предлагают разные товары – главным образом, южные фрукты. Группа ребят из «Герцлии» держится вместе, скучать не приходится.

На Святую землю направлялись и паломники из Болгарии. Вечерами они пели грустные балканские напевы, и питомцы «Герцлии» не отставали, затягивая в ответ свои ивритские песни. И вот настал день, когда Душман воскликнул:

– Галилейские горы! – и указал на горную гряду, синевшую на востоке.

Стояла осень, над землей стлался несмелый утренний свет. Пароход бросил якорь, спустили трап, и вот уже дети сидят в лодке, которая доставит их на берег. Яффский порт кишит людьми. Смуглые, темнокожие, в красных фесках, бритые и с косицами на затылках, грузчики, торговцы, дети, закутанные в покрывала женщины, лошади, ослы, верблюды... – все это пестрое разнообразие двигалось туда и обратно, гудело, издавало пронзительные гортанные звуки. Разноголосый шум восточного порта, море до горизонта, плеск опускающихся в воду весел и крепкие, обнаженные торсы гребцов, крики торговцев фруктами и напитками, запах жареных каштанов и горы сладостей, – поистине, то была дивная и пестрая мозаика цветов и звуков.

(из «Неоконченной повести»)

«Герцлия»

Здесь следует сказать несколько слов о гимназии «Герцлия». Идея ее создания тоже родилась во многом случайно в 1904 году, в швейцарском Берне. Там проходил семинар, посвященный совсем другому вопросу – «проекту Уганда», где Теодор Герцль когда-то предполагал создать еврейское государство. Возглавлявший тогда фракцию самых решительных противников этого плана сионист Менахем Усышкин (1863-1941), выступая перед группой студентов, высказал мнение, что главной задачей сионизма является на тот момент воспитание молодежи, говорящей на иврите и готовой овладеть всеми необходимыми для строительства Страны профессиями.

Присутствовавшие на семинаре студенты Хаим Бограшов-Богер (1876-1963) и Бенцион Мосинзон (1878-1942) решили не откладывать дело в долгий ящик. Оба прибыли в Швейцарию на учебу из района Бердянска, оба были одержимы идеей еврейского образования – странные птицы в этой социалистической цитадели, где умами российских студентов почти безраздельно

¹ Кушта – тогдашнее наименование Стамбула.

властвовали Плеханов, Мартов и Троцкий. Оба, кстати, исполняли потом обязанности директора «Герцлия». Но это потом, а пока в Яффо уже через год была открыта первая школа с преподаванием на иврите. Она занимала всего две комнаты в частной квартире одесситов Иегуды-Лейба и Фани Метман-Коэн, но на доме красовалась вывеска, где значилось «Ивритская гимназия» – причем, только ивритскими буквами! В то время подобное выглядело в Эрец Исраэль совершенно немыслимым делом.

Немыслимым было и многое другое, так что гвалт поднялся невероятный. Светская школа?! Совместное – мальчики и девочки – обучение?! Учитель – женщина?! Преподавание на иврите?! Гевалт¹, евреи!! Бурлила не только насчитывавшая тогда несколько десятков тысяч душ еврейская община Страны – шум дошел до Европы и Америки и выплеснулся аж на трибуну Сионистского конгресса. Депутат Сами Гринман, сын уважаемого раввина, произнес гневную обличающую речь. Хаим Бограшов не остался в долгу, ответив еще более яростным выступлением. В конце концов, он тоже был сыном раввина...

Так или иначе, но ровно в 7:45 согласно положению стрелок яффских башенных часов (что в то время означало «примерно восемь») по Часовой площади проходили и скрывались в близлежащем переулке 17 (прописью: семнадцать) мальчиков в шортах, толстовках и каскетках и девочек в матросках и сарафанах. Всего 17 первых учеников первой еврейской школы Нового времени, где на иврите преподавались все предметы, включая математику и физику.

Физика на иврите! Подивиться на это чудо приезжали из Нью-Йорка и Буэнос-Айреса... Даже годы спустя преподавателям алгебры и геометрии приходилось просиживать ночи напролет, переводя задачи и теоремы с русского на иврит, не располагавший в то время соответствующими словами и понятиями. Все приходилось создавать заново, почти с нуля.

Среди семнадцати подростков, гордо вышагивавших в 1905 году мимо вечно отстающих часов яффского Биг-Бена, были будущий премьер-министр Израиля Моше Шарет, Дов Хоз – будущий создатель Хаганы и ее будущий главнокомандующий Элиягу Голлоб... Всего 17 – но уже в следующем году – 40, а вскоре, после завершения в 1910 году строительства нового здания в новом городе Тель-Авиве – 500. Пятьсот гимназистов и гимназисток – будущая элита – министры, генералы, ученые, врачи, писатели, композиторы, архитекторы будущего еврейского государства.

Деньги на школу мобилизовали все те же неутомимые Мосинзон и Бограшов. Основную сумму внес состоятельный делегат Сионистского конгресса от Великобритании Джейкоб Мозес, выдвинув при этом единственное условие: присвоение гимназии имени Теодора Герцля. Так в названии школы появилось слово «Герцлия». Ну не ирония ли судьбы – ведь первый практический разговор о гимназии зашел как раз там, где собрались самые яростные на тот момент противники Герцля...

В чем заключалось принципиальное отличие гимназии «Герцлия» от других светских еврейских школ, открывавшихся энтузиастами просвещения, закрывавшихся российскими властями и вновь открывавшихся теми же энтузиастами в соседнем местечке? В том, что создание таких школ в странах

¹ Гевалт! (идиш) – Караул! Берегитесь!

рассеяния так или иначе становилось первым шагом к ассимиляции – даже тогда, когда учителями были самые пламенные сионисты. Здесь же все обстояло в принципе иначе.

Во-первых, руководители гимназии делали все, чтобы продемонстрировать верность еврейской Традиции. Тот же Бенцион Мосинзон, один из инициаторов и основателей «Герцлии», преподавал там Танах. Сейчас об этом факте подзабыли, но именно гимназия – светоч просвещения и прогресса! – ввела – впервые в новой истории Эрец Исраэль! – запрет на езду по субботам. Еженедельно по пятницам с появлением первой звезды гимназический сторож выходил на улицу Герцля и натягивал поперек нее толстую металлическую цепь, отмечая тем самым начало шаббата. После чего до конца субботы ни одна телега или карета – даже турецкая – не осмеливалась проезжать мимо здания школы.

Во-вторых, в гимназии почти сразу ввели обычай пеших походов и экскурсий. Возможно, кто-то усмотрит в этом простое копирование практики швейцарских и немецких школ, где подобные прогулки всегда были (и остаются по сей день) общепринятым делом. Но в Эрец Исраэль пешие походы имели особенный, важный, не столько физический, сколько духовный смысл.

Сейчас, по прошествии века со времен Второй Алии¹ это явление уже трудно понять во всех его нюансах, но можно попробовать – хотя бы в общих чертах. Представьте себе одержимых сионистской идеей уроженцев Одессы, Шепетовки, Житомира, Минска, Вильны, только-только сошедших на берег Яффо с борта парохода. Они ступают не просто на замусоренный по щиколотку лодочный причал, где кипит гортанный восточный базар, кричат ослы и жуют жвачку надменные верблюды. Нет, они ступают на Землю Израиля, о которой так много читали, о которой так много спорили и мечтали. Они не слышат арабской, греческой, русской речи – в их головах звенят пока еще немногие известные им слова иврита. Слова и имена – имена библейских героев, пророков, царей, названия мест, городов, долин и ущелий.

Они уже давно живут в Стране – в своем воображении; теперь им предстоит совместить этот умозрительный образ с реальной почвой полей, реальными склонами реальных вади, реальным зноем реальных пустынь. Можно сказать, что они ощущают себя немножко разведчиками, посланными Моисеем на разведку Земли Обетованной, – но не теми десятью трусами и слабаками, которые вернулись к вождю с глазами, круглыми от страха и разочарования, а двумя другими – Калемом и Бин-Нуном, принесшими назад виноградную гроздь и благовестие любви. Благовестие любви к этой странной, трудной, мало кому потребной, но всем необходимой стране; благовестие любви, протянувшееся сквозь три тысячелетия от тех библейских шатров к этому грязному яффскому причалу.

Довольно мечтаний – теперь они жаждут физического контакта с Землей – чем ощутимей, чем грубее, тем лучше. Именно в этой потребности – не только и не столько в толстовстве – следует искать причину повального увлечения тогдашних сионистов земледельческим трудом. Они познают Землю всем телом –

¹ Вторая Алия (или Вторая волна алии) – период 1904-1914 гг. в течение которого в Эрец Исраэль приехали от 30 до 40 тысяч репатриантов из Восточной Европы. Считается, что именно Вторая Алия сыграла решающую роль в утверждении сионистского движения в Стране. Алия (ивр.) – восхождение.

потом, болью, мозолями, в кровь стертymi руками. А кроме того, они сразу же начинают ходить в походы – обязательно пешие, чтобы почувствовать Страну еще и ступнями ног, гудящими коленями, уставшей спиной.

Дороги Эрец Исраэль в то время кишели разбойниками-бедуинами, грабителями и лениво преследовавшими их турецкими солдатами. В путь из города отправлялись не иначе как в сопровождении вооруженного спутника. Можно лишь вообразить удивление путешественников, когда навстречу им попадался отряд гимназистов в коротких штанишках, бодро марширующих под сенью двух флагов: бело-голубого и красного с полумесяцем и звездой. За годы учебы они успевали измерить Страну шагами от реки Литани на севере до залива Акабы на юге.

Вот как описывает дни своей учебы в гимназии Цви Прейгерзон:

Ученики гимназии «Герцлия», большинство которых приехали сюда из России, проживали в добротном двухэтажном доме пансиона Липсона, неподалеку от гимназии. По три раза в день ученики собирались в столовой. Меню не отличалось изысками, но зато в пансионе царил дух товарищества и неподдельной сердечности. По субботам и в праздничные дни в зале наверху проходила общая молитва.

Здание гимназии возвышалось над боковыми арочными крыльями-флигелями. В одном из двух ее больших отделений, помещавшемся на втором этаже, шли занятия по утрам. Просторные коридоры, тихие и безлюдные во время уроков, наполнялись в перерывах шумной толпой гимназистов.

Изучали иврит, математику, Танах, арабский и французский языки, географию, историю. Физкультурой дети занимались во дворе. Преподаватель Орлов – подтянутый статный парень, учил их гимнастическим упражнениям на брусках. Рядом шумело Средиземное море; волны весело накатывались на берег и, тихо урча, возвращались назад. Учитель пения, человек с лицом восточного типа и черными, подернутыми влагой глазами, приносил на урок небольшую ребристую гармонь.

Если быть честным, то не так уж легко приходилось юнцам, оторванным от привычного семейного очага. На приготовление домашних заданий и упражнений уходило много времени, вдобавок ребятам приходилось постоянно заучивать наизусть множество стихотворений.

(из «Неоконченной повести»)

Речь тут идет, конечно, преимущественно о стихотворениях на иврите. Иврит был не только основой занятий в школе, но и основой повседневной жизни гимназистов – они старались говорить только на нем. А поскольку гимназия довольно быстро превратилась в культурный центр юного Тель-Авива (здесь проводились лекции, концерты, отмечались торжественные события и проч.), ребята совершенно закономерно видели себя главными проводниками, пропагандистами и защитниками возрождаемого языка. Правы были те, кто говорил, что Тель-Авив строился вокруг «Герцлии» и при ее посредстве. В этом можно и нужно усмотреть немалую символику. Духовную основу будущего

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Государства Израиля, несомненно, составляла Традиция, воплощенная в Иерусалиме, в осязаемом присутствии Храма над Котелем (Западной стеной). Но практической, жизненно необходимой повседневной основой стал другой храм – храм Сионизма, храм современного иврита в лице Ивритской гимназии «Герцлия».

Сейчас это кажется естественным и понятным, но тогда, во время учебных семестров 1913-1914 года, ситуация вовсе не выглядела столь очевидной. В Эрец Исраэль шла настоящая культурная война. Помимо ивритской гимназии здесь имелись хорошо устроенные, богатые немецкие учебные заведения, а также школы Альянса, где преподавание велось на французском. Их превосходно систематизированные, выверенные десятилетиями учебные программы не приходилось переводить на язык Танаха и Талмуда, мучительно подыскивая или изобретая нужное слово.

А ведь были еще такие мощные соперники, как русский и идиш. Особенно идиш. По оценкам, сделанным перед Второй мировой войной, уже на склоне, вызванном ужасающими потерями предыдущей войны, ассимиляцией и массовым оттоком молодежи в большие города, этот язык признавали родным от 11 до 13 миллионов человек. Значит, перед Первой мировой было еще больше – скажем, 15 миллионов. Для сравнения: еврейское население Эрец Исраэль к 1914 году едва достигало 85 тысяч человек.

Кое-кто из них пытался говорить на иврите, но подавляющее большинство предпочитали другие языки общения: русский, арабский, турецкий, французский, немецкий, идиш. Стоило ли принимать в расчет такого ничтожного соперника? Даже если на *лашон га-кодеш*, годном исключительно для молитв и талмудической премудрости, заговорят здесь все эти 85 тысяч, много ли это будет значить? Да в одной только Варшаве проживало тогда вчетверо больше евреев! Вчетверо!

Сохранились путевые записки одного из идишских писателей, посетивших Святую Землю как раз накануне войны. С прославленным еврейским юмором писатель рассказывает о нелепых попытках местных энтузиастов поддерживать разговор на иврите: «Они с трудом обменивались даже простейшими фразами, а когда испытывали необходимость описать какое-либо сложное действие, принимались бекать, мекать и жестикулировать. Все тут превосходно знали идиш, но не станет же свободный еврей опускаться до галутного жаргона! Поэтому, помыкавшись в безуспешных поисках нужного слова, они переходили на русский...»

Действительно, забавно. Логичным выглядит и заключение, к которому приходит просвещенный путешественник: *лашон га-кодеш* мало на что способен даже в качестве обычного разговорного языка, а уж о возможности выразить тонкие движения человеческой души посредством литературы на иврите и вовсе речи не идет. Тут, впрочем, уместно было бы вспомнить, что всего лишь столетием раньше подобные сомнения высказывались и в адрес идиша. В течение восьми веков до начала Хаскалы его литературная составляющая была относительно бедной: переводы духовных текстов, адаптированные для женщин и

тех, кто не способен понимать на иврите, переложения немецких сказок, хасидские притчи, народные песни, традиционные спектакли пуримшпилей¹...

Именно «относительно бедной», то есть в сравнении с ведущими романскими языками, которые к тому времени уже накопили значительный литературный багаж. У идиша еще не было Чосера, Шекспира и Дефо; Данте, Боккаччо и Гольдони; Вийона, Ронсара и Рабле; Сервантеса, Кальдерона и Лопе де Вега. Однако, если брать за точку отсчета менее зрелые языки, то он вряд ли уступал в этом плане польскому, русскому, чешскому или венгерскому. Их молодые литературы по большому счету стартовали примерно в то же время, что и литература на идише.

Ее успех впечатляет еще и потому, что другие юные деревца отнюдь не расплывали своих сил, направляя все соки национальных талантов в один и только один ствол. В то время как евреи на кого только ни работали, предпочитая идишу языки тех народов, на чьей территории их застала судьба изгнанника. Можно только гадать, каким роскошным было бы здание идишской литературы, если бы к усилиям Менделе Мохер-Сфарим, И. Л. Переца, Шолом-Алейхема, Переца Маркиша и Ицхака Башевис-Зингера присоединились Гейне и Кафка, Цвейг и Алданов, Монтень и Жакоб, Пастернак и Ионеско, Мандельштам и Дизраэли, Кестлер и Зангвиль, Бабель и Белоу... и многие, многие другие.

Словом, у путешествующего писателя были все основания свысока поглядывать на безнадежные потуги жалкой кучки последователей Элизера Бен-Иегуды². В самом деле, объем работы, стоявшей перед сторонниками сфарадита (так они сами иногда называли возрождаемый язык из-за избранной в качестве образца сефардской версии произношения) казался неподъемным. И хотя их главная атакующая дивизия, Ивритская гимназия «Герцлия», уже развернула свои боевые порядки, преподавание на иврите велось тогда исключительно в ней.

Но именно эти нахальные юнцы из «Герцлии» совершили невероятное. Материнским языком этих детей был все тот же идиш, но даже одного учебного года, проведенного в гимназии, хватало на то, чтобы хранить верность ивриту на протяжении всей последующей жизни.

Да, методы гимназистов не отличались деликатностью. Наглецы освистывали идишские спектакли, демонстрировали под окнами выходящих на *маме лошен* изданий, а выступление вышеупомянутого писателя-путешественника сорвали и вовсе по-хамски, наевшись предварительно бобов и испортив атмосферу встречи в самом буквальном смысле. Всем этим можно было возмутиться как бессовестным зажимом свободы слова – можно было, когда бы не упомянутые выше ничтожные масштабы этого смехотворного бунта.

В самом деле: надо ли брать в расчет кучку гимназистов, науськанных сотней-другой фанатиков, когда на другой чаше весов – миллионы читающих, пишущих, говорящих на идише? Можно ли сравнить блеск изысканной культуры Берлина, Варшавы, Нью-Йорка с захолустной провинцией распадающейся Османской империи? При всем уважении к историческим древностям, они

¹ Пуримшпиль – традиционный веселый спектакль на тему Книги Эсфирь во время праздника Пурим.

² Элизер Бен-Егуда (Лейзер-Ицхок Перельман, 1858-1922) – литератор, филолог и просветитель, всецело посвятивший себя задаче возрождения иврита в качестве современного разговорного и литературного языка.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

потребны образованному человеку лишь для одноразового посещения, омраченного к тому же местной вонью, жарой, ужасной пищей и жуткой антисанитарией.

Так рассуждал после поездки в Эрец-Исраэль заезжий идишский писатель. А вот что вынес оттуда же четырнадцатилетний подросток Цви-Гирш Прейгерзон:

Он видел там евреев-рабочих и евреев-земледельцев, учеников и учителей, верующих и атеистов. Видел голубое небо и зеленые волны моря, омывающие берег. Слышал повседневную ивритскую речь. Его ноги ступали по улицам Иерусалима и Яффо, Хайфы и Тверии, он шел по красной каменистой дороге, ведущей в деревню с древним именем Модиин, деревню Хасмонеев¹.

...небеса нашей страны голубы, солнце горячо, цветы душисты, а земля плодородна. Наш язык иврит звенит там в голосах играющих детей. Парни и девушки, мужчины и женщины трудятся там в полях и садах, в школах и на заводах. Каждое утро выходят в свет ивритские газеты. По этой земле ступали ноги наших предков. Там каждая гора и овраг, каждый камень древних развалин свидетельствуют о прошлом нашего народа.

(из романа «Когда погаснет лампада»)

Эти проникновенные строки написаны Прейгерзоном почти 30 лет спустя, во время чудовищной войны, уничтожившей шесть миллионов его соплеменников. Сколько тягот, сколько горя и страданий видели за эти три десятилетия его глаза! Ужасающие погромы, гибель традиционных местечек, годы разрухи и голода, ежовщина, террор, повседневный въевшийся в поры страх... А вот поди ж ты: за девять месяцев, проведенных в Стране, будущий писатель выносил такой сильный, счастливый, живучий плод, что и 30 страшным последующим годам не удалось затушевать, раздавить этого сияющего торжества. Хватило и больше – до конца жизни. И что стало основой, каркасом, сердцевиной этого плода?

Иврит.

Первая мировая

В конце учебного года Цви-Гирш, как и многие другие приехавшие из Германии, Австро-Венгрии и России гимназисты, отправился домой на летние каникулы. Он уезжал полный гордости и надежд, уверенный в своем счастливом предназначении. Будущее расстилалось перед ним до самого горизонта – гладкое, как море за бортом парохода, ясное, как небо над морем. Стоит ли говорить, что он и помыслить не мог, что никогда больше не увидит берегов Эрец Исраэль?

Разразившаяся в конце июля 1914 года Первая мировая война разрушила все планы. Османская и Российская империи оказались по разные стороны опутанных колючей проволокой брустверов; на возвращение в «Герцлию» нечего было рассчитывать. Впрочем, следовало подумать о более важных вещах: а

¹ Хасмонеи (Хашмонаим) – священнический род, представители которого возглавили восстание против Селевкидской Антиохии (II в. до н.э.) и впоследствии правили Иудеей в течение более чем столетия.

именно, об опасной близости к границе – то есть к фронту – Волыни вообще и Шепетовки в частности. Решение, принятое в тот критический момент отцом семейства, было из числа тех, какие впоследствии называют спасительными: Израиль Прейгерзон решил оставить насиженное гнездо и перевезти семью на восток Украины, за естественную преграду Днепра.

Выше уже отмечалось, что Рахиль, мать Цви-Гирша, происходила из семьи выдающегося раввина Дов-Бера Карасика. Прейгерзоны устроились на новом месте, воспетом еще в «Слове о полку Игореве». Помните: «Трубы трубят в Новгороде, стяги стоят в Путивле»? Вот где-то там, между Новгородом-Северским и Путивлем, но на сей раз вдали от труб и стягов Первой мировой войны, и располагалось тихое местечко Кролевец.

Тем, кто остался в Волыни, Подолии, Белоруссии, Курляндии и, особенно, Галиции, повезло значительно меньше. Об этом мало говорится, поскольку погромы Гражданской войны и масштабы «окончательного решения» в период Второй мировой отодвинули в тень трагедию еврейского населения прифронтной полосы во время сражений 1914-1916 гг. А между тем два первых года войны характеризовались чудовищным антисемитизмом – как низовым, народным, так и идущим сверху, от российского военного командования (верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и начальник генерального штаба Н. Янушкевич).

Ненависть к евреям, которая выплеснулась тогда наружу, никак не может быть связана с реальными причинами (шпионажем и пособничеством врагу) – даже если учесть, что в приграничных областях традиционным способом еврейского заработка всегда была контрабанда (а ее в период военных действий легко спутать со шпионажем). Но никакие подозрения не могут объяснить зашкаливающего уровня всеобщей ярости по отношению к миллионам ни в чем не повинных людей. Создается впечатление, что черносотенцы, лишь в малой степени удовлетворенные «скромными» плодами погромов 1880-х и 1900-х годов, только ждали подходящего момента. Война предоставила им и повод, и оружие.

И тут снова приходится указать на ассимиляцию как на главную (если не единственную) причину катастрофически возросшего антисемитизма. Результатом успехов российской Хаскалы стало резко возросшее количество евреев, которые стремились влиться в жизнь общества в качестве полноправных его членов. И общество отреагировало на них так же, как организм реагирует на чужеродное тело – решительным отторжением, тем более сильным, чем заметнее становилось присутствие евреев, чем больше они старались походить на «своих», на русских. Это отторжение имело место во всех слоях – от крестьян и городской черни до просвещенных либералов и высшего чиновничества.

Первые же успехи российской армии, захватившей Восточную Галицию и Северную Буковину, сопровождались погромами и насилием, которые заставили вспомнить времена гайдамаков и Хмельницкого. Внутренние области Австро-Венгрии переполнились волнами еврейских беженцев: их число только с этой стороны фронта достигало 400 тысяч. Но положение было не лучше и с другой, российской, стороны окопов. Евреев повсеместно обвиняли в пособничестве врагу, утверждали, что они прячут в погребах вражеских диверсантов и сообщают немцам о передвижениях русских частей. Анекдотическим казусом стал

передаваемый из уст в уста слух, будто бы «евреи прячут в бородах телефоны» – сейчас это трудно читать без усмешки, но жертвам этих слухов было вовсе не до смеха.

Командование поддерживало эти дикие рассказы своими циркулярами и распоряжениями. Евреев хватали и расстреливали по наскоро слеplенным приговорам военно-полевого суда, а то и просто вешали без долгих разговоров. Часто обвиняемые даже не успевали понять, что им инкриминируют: они элементарно не знали русского языка. В январе 1915-го Янушкевич разослал по войскам приказ, предписывающий насильственное выселение евреев из прифронтовых областей. К сотням тысяч добровольных беженцев (к тому времени уже убежали все, кто имел такую возможность) прибавились депортируемые.

Депортация велась по всем правилам и законам подобных мероприятий – то есть без каких-либо законов и правил. В местечках на тот момент остались лишь самые слабые – старики и женщины, обремененные большим количеством детей. Как сельди в бочку, их втискивали в товарные вагоны – те же самые, которые тридцать лет спустя поедут в противоположную сторону, в Аушвиц и Трeблинку¹. Многие погибали в дороге от голода и болезней (сразу же вспыхнул тиф – неременный спутник тесноты и антисанитарии). А на востоке, во внутренних областях России, депортированных ждал «радушный» – в хвост и в гриву – прием тамошнего населения, не слишком привычного к гостям из-за черты оседлости.

Да-да – побочным результатом депортаций стала фактическая отмена сакраментальной черты оседлости (пока еще – за исключением столиц). Количество высланных и бежавших евреев колеблется, согласно разным оценкам, от 600 тысяч до миллиона. Количество погибших среди гражданского еврейского населения неизвестно.

Зато называется число убитых евреев-военнослужащих: в русской императорской армии их насчитывается порядка ста тысяч – каждый четвертый из мобилизованных и ушедших добровольцами «россиян Моисеева закона». Среди ассимилированного еврейства наблюдался поначалу великий патриотический подъем: в первый год было более 400 тысяч солдат-евреев; к 1916-му это число увеличилось до полумиллиона. С другой стороны фронта, объятые столь же патриотическим (но уже австрийским или немецким) энтузиазмом, сражались более 300 тысяч евреев Германии и Австро-Венгрии.

Описывались нередкие случаи, когда, ворвавшись в зверском угаре рукопашной в чужой окоп, солдат-еврей слышал, как враг, пораженный его штыком, хрипит предсмертную молитву «Шма Исраэль...» Учитывая весьма разветвленные родственные связи, можно без особого риска ошибиться утверждать, что для евреев Первая мировая война была братоубийственной в буквальном смысле этого слова. Они сражались на передовой, получая Георгиевские кресты за проявленную доблесть, а в это время где-нибудь в районе Саратова или Перми выгружали из товарных вагонов трупы их депортированных

¹ Аушвиц (Освенцим) и Трeблинка – два из шести лагерей смерти (другие четыре: Майданек, Собибор, Хелмно и Белжец), устроенных нацистами в Польше для физического уничтожения евреев во время Катастрофы.

жен, их осиротевшие дети умирали на обочинах беженских дорог, а стариков-отцов тащили за бороду на виселицу как шпионов...

Десять лет спустя писатель Цви Прейгерзон описал в своем рассказе характерный эпизод того времени. Волынский фотограф-еврей едет в переполненном вагоне, и прячет лицо, и прикидывается немым, смертельно боясь, что его опознают по внешности или по акценту. Опознают – скорее всего убьют, потому что евреев обычно убивают. Он и не сунулся бы в поезд, но нужда заставила: кровь из носу надо добраться до города Хролина...

– И вот, стало быть, лежу я в вагоне, прячу лицо... Поезд еле дышит, прямо как раненая кляча. Повсюду люди, мешки, узлы, махорочный дым, гул голосов. И когда я говорю «повсюду», это именно повсюду: не только в вагоне, но и на вагоне, и под вагоном, и за вагоном, и перед вагоном, на буферах. И все в один голос клянут евреев. И слышу я, как один необрезанный рассказывает ужасную историю. Он рассказывает, а остальные кивают. Кивают и нас ругают.

«Приходим мы, слышь-ты, в Галиции в одно село, – говорит этот гой. – И подзывает меня унтер. Мол, так и так, Тарасов, сейчас мы идем на мельницу. А хозяин этой мельницы – жид, а жида все до одного – предатели, иудино семя! Ну ладно, пошли мы на мельницу. А там, слышь-ты, сидит этот еврей-хозяин, в руке у него телефонная трубка и лопочет он в нее что-то австрийское, на австрийском, слышь-ты, языке. Доносит, то есть. Взял я его за грудки и говорю ему так: «Ты, тварь жидовская, непотребная, богопротивная, проклят будь вместе со всем отродьем твоим, в бога-душу-мать! Я, русский солдат Тарасов, и вся наша русская армия зябнем в холодных окопах, голодаем, газом травимся, кровь проливаем за царя и отечество! А ты, жидовская сволочь, мало что в тепле и сытости, так еще и шпионишь-предаешь святое православное воинство!» Так вот сказал я ему. Ну, а он, само собой, лопочет что-то по-своему, по-жидовски, и коленки у него дрожат от страха, и зуб на зуб не попадает. Снял я тогда с плеча винтовку и заколол жида-предателя. Штыком заколол, прямо в горло его жидовское, чтоб не лопотал больше. Будь проклят и он, и все племя его, и мельница его жидовская!»

– Мельницу-то за что? – недоуменно спросил кто-то из присутствующих. Вопрос повис в воздухе и остался незамеченным. Но, скорее всего, спросивший не слишком нуждался в ответе.

– И вот мы едем, и едем, и едем... – продолжил свой рассказ фотограф. – И я лежу себе ни жив ни мертв, прячу лицо, боюсь слова сказать, чтобы не опознали во мне еврея, а поезд то ползет, то встанет, то снова ползет. У паровоза одышка, вагоны скрипят, колеса лениво так перестукивают. За окнами светает, пасмурно, поля стоят мокрые. Когда доехали до Хролина, уже совсем рассвело. Вот и станция. Слез я с полки, стал пробираться к выходу. Ага, попробуй пробейся! Куда ни глянь – руки, ноги, головы, тела, люди, мешки, узлы, корзины. Кто спит, кто храпит, кто ругается, кто сигаркой дымит – сплошное месиво. Налево – никак, направо – никак, ни вперед, ни назад. Надо как-то пролезть, а я рта боюсь раскрыть, чтобы себя не выдать! Надо попросить, подвинуть, прикрикнуть... – а я молчу!

(из рассказа «Моя мама»)

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Ждать милости от властей не приходилось, зато пригодились созданные еще до войны благотворительные еврейские организации: ОПЕ (Общество распространения просвещения между евреями) и ОРТ (Общество ремесленного и земледельческого труда). В 1915 году в Петрограде был создан ЕКОПО – Еврейский комитет помощи жертвам войны. В этих организациях доминировали сионисты – социалистов, поглощенных заботой о светлом будущем человечества в целом, мало волновали конкретные сироты и калеки. Сионизм вообще очень усилился именно в тот бедственный период: жизненные тяготы всегда имеют свойство возвращать людей к реальности.

Вечная еврейская история, вечное умение трансформировать несчастье в новые возможности: ЕКОПО и другие объединения того же типа не только превратились в весьма эффективные инструменты взаимопомощи и мобилизации средств, но и стали зачатком будущих органов гражданского общества как в России, так и в Эрец Исраэль (к примеру, школы ОРТа существуют в Израиле и по сей день).

Как уже сказано, черта оседлости отменилась явочным порядком, вынужденно (а вовсе не по доброй воле российских властей, как иногда полагают). И беженцы-евреи принесли с собой не только тиф, чахотку и антисемитизм, но и дух предпринимательства, инициативу и жажду знаний. В крупных «внутренних» городах Харькове, Саратове, Воронеже, Екатеринославе, Ростове-на-Дону и даже в Сибири – вплоть до китайского Харбина – стали возникать новые предприятия, мастерские, фабрики, типографии, издательства, детские дома, учебные и просветительские учреждения.

По сути, запретными оставались лишь Петроград, Москва, казачьи области и так называемые «курортные места», где вид пейзажа мог оскорбить нежный взгляд той или иной отдыхающей августейшей особы. Но и эти запреты не очень-то соблюдались: в военное время практически невозможно уследить за мощными потоками беженцев и переселенцев. Пришлось изменить в сторону расширения и процентные нормы приема в гимназии: в конце концов, дети беженцев и фронтовиков должны были где-то учиться...

Войдя во вкус, российские евреи даже лелеяли какое-то время мечты о национальной автономии, создав с этой целью Центральное бюро еврейских общин. К концу войны еврейство России располагало довольно разветвленной и хорошо организованной сетью органов гражданского самоуправления. Эта система эффективно функционировала до лета 1919 года, пока возглавляемый И. Сталиным Наркомат по делам национальностей не прихлопнул ее своим зубодробительным декретом, в приказном порядке распустив и Центральное бюро еврейских общин, и почти все созданные до того гражданские органы.

Но до 1919 года еще надо было дожить. Пока же Израиль Прейгерзон, художественно устроив семью в тыловом Кролевце, задумался о продолжении образования сына. Как мы помним, о возвращении в Эрец Исраэль речи уже не шло. И тут снова – не было бы счастья, да несчастье помогло...

Одесса

Одесса фигурирует во многих рассказах и повестях Прейгерзона – где мельком брошенной фразой, а где и подробно. Обычно он избегает называть ее по имени, предпочитая эвфемизмы: «южный город», «город у моря» и т.п. Это показательно, поскольку тот же прием применяется писателем и в отношении других, особенно близких ему топонимов.

Во объемистом корпусе написанных им текстов (за исключением документального «Дневника») вы практически не встретите ни слова «Шепетовка», ни слова «Кролевец». Свой родной штетл¹ Прейгерзон именует либо «Пашутовка» (помещая ее «между Славутой и Судилковом, Бердичевом и Ровно», что точно соответствует географическому расположению реальной Шепетовки), либо «мое местечко», либо просто «местечко». То же самое верно и в отношении Кролевца, куда Цви-Гирш подростком и юношей возвращался на каникулы, где жили многие его друзья, откуда он ушел, не оглядываясь, навстречу взрослой жизни, обещавшей так много и горячо.

Эта очень трогательная деталь может быть связана с немного суеверным еврейским обычаем воздерживаться от произнесения вслух и всуе самых дорогих и любимых имен. Если причина действительно такова, то она лишней раз демонстрирует огромную роль, которую сыграла Одесса в становлении и развитии личности будущего писателя. И неудивительно: велико созвездие ярких литературных имен, родившихся и живших в этом удивительном городе, впитавших его живую, деятельную, кипучую, неумную энергию, его уникальный юмор, его многогранность и практическую сметку, его философский, с ироническим, а то и бандитским прищуром взгляд.

Хаим-Нахман Бялик, Исаак Бабель, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Константин Паустовский, Юрий Олеша, Владимир Жаботинский, Саша Черный, Семен Кирсанов, Корней Чуковский – вот далеко не полный список литературных звезд, воссиявших на одесском небе в те – или примерно те годы, когда в Одессе жил и учился юный Цви Прейгерзон.

Но как ему, подростку из Кролевца, удалось поступить в одесскую русскую гимназию? Опять же – стечение обстоятельств. Из фронтового Люблина в Одессу эвакуируется подальше от войны знаменитая Люблинская гимназия – во всей полноте своей дирекции и преподавательского состава. Не хватает только учеников; их-то и решено восполнить за счет беженцев. И – надо же такому случиться! – большинство беженцев составляют как раз те самые евреи, которых в Люблине не пустили бы даже на порог столь уважаемого учебного заведения (а если и пустили бы, то лишь в рамках ничтожной процентной нормы).

Одесских евреев, понятное дело, в Люблинскую гимназию не брали, поскольку они не могли считаться беженцами – зато такой парень, как Цви-Гирш, чья семья сменила с началом войны место жительства, подходил за милую душу. Успешно сдав вступительный экзамен (для чего пришлось подучить русский язык, который юный Прейгерзон знал тогда весьма посредственно), талантливый юноша поступил в гимназию. Жил он у состоятельных родственников отца и учился во вторую смену, что позволило Цви-Гиршу параллельно заниматься

¹ Штетл (идиш) – городок, местечко.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

музыкой. Так одновременно с гимназией ему удалось окончить Одесскую консерваторию по классу скрипки.

В те годы люди в Одессе были помешаны на музыке, поэтому еврейские дети все как один брали уроки игры на скрипке или на фортепьяно...

Наступает зимнее утро, за окнами забрезжило, хотя в столовой... еще совсем темно. Окна выходят на Арнаутскую; улица постепенно просыпается, уже слышны голоса, стучат лошадиные копыта, отбарабанил свое короткий ливень... Все эти звуки словно вспарывают плотный туман, нависший над городом. На часах уже восемь. Служанка Поля суетится на кухне.

После завтрака в доме наступает тишина – самое время готовить уроки: математику, историю, природоведение... да еще и выучить наизусть отрывок из стихотворения.

К одиннадцати часам все домашние задания приготовлены, можно сложить тетради и книги в школьную сумку и сесть за пианино. На упражнения отводится два часа, по часу утром и вечером. Комната наполняется звуками, словно цветами.

Потом можно почитать рассказы Эзры Гольдина¹... В юноше крепко засел иврит – в гимназии «Герцлия» он получил такой мощный заряд, которого хватит до конца жизни.

В половине второго – время торопиться на улицу. Там стоит привычный гвалт, и скрип, и визги, звучит русский одесский говор вперемежку с еврейскими интонациями. Кусты мимозы облепили дома с обеих сторон. Мальчик добирается до гимназии и заходит в класс. А здесь тоже своя жизнь – тридцать учеников, по двое на каждой скамье, каждый со своим нором и увлечениями.

Прозвучал звонок, и в класс входит учитель математики Александр Иванович – высокий, с большим выдающимся вперед кадыком. Каштановые волосы падают ему на лоб, и Александр Иванович отбрасывает их резким движением головы. Его сменяет учитель русской литературы Козлов, пожилой человек, которого любят ученики. У него седые усы и красноватое лицо. Затем идет латынь; ее преподает Ярема, инспектор гимназии, небольшого роста, с брюшком. Он работает по собственной методе, используя учебник, который сам же и написал.

Учебная программа включает и «Закон Божий». От этой дисциплины ученики-евреи освобождены – вместо нее изучается история еврейского народа по книге Дубнова². Но могут ли эти занятия заменить памятные уроки в далекой «Герцлии»?..

Вечереет, заканчивается последний урок. Ученики выбегают из школы, начинают дурачиться, кидать друг в друга сумками. Они одеты в русскую гимназическую форму: серо-зеленую шинель с блестящими пуговицами, на голове – фуражка с лаковым околышем и металлической кокардой желтого цвета. На

¹ Эзра Гольдин (1868-1915) – еврейский литератор, писавший на идише и иврите.

² Шимон Дубнов (1860-1941) – выдающийся литератор, публицист и историк, написавший монументальную «Всеобщую историю еврейского народа» и погибший во время одной из самых первых акций в Рижском гетто в декабре 41-го.

Меж трех миров

столбах висят фонари, но они едва освещают дорогу. Магазины все еще открыты, и в окнах светло.

(из «Неоконченной повести»)

Гимназия и консерватория – кажется вполне достаточным? Но только не для Цви-Гирша, чья душа по-прежнему принадлежит волшебному миру «Герцлии», Земле Израиля, сионизму. Вдобавок ко всему (или наоборот – всё остальное является «добавком» к этому?) он посещает светскую ешиву Хаима Черновца (1870-1949) – известного литератора, преподавателя и публициста, писавшего под псевдонимом Рав Цаир¹. Черновиц и его последователи собрали у себя поистине выдающийся преподавательский состав, благо выбрать в тогдашней Одессе было из кого. В аудиториях ешивы читали лекции знаменитый ивритский поэт Хаим-Нахман Бялик, один из лидеров сионистского движения Менахем Усышкин и выдающийся историк Йосеф-Гдалия Клаузнер (1874-1958). Последний оказал на юношу особенно сильное влияние. Вот что писал Прейгерзон много позже, почти сорок лет спустя:

Я жил в Одессе несколько лет, там я стал юношей; там в годы войны и разрухи я приобрел все, что определяло мое еврейство. Я учился в гимназии, был воспитанником еврейской консерватории, в которой А. Гордон учил меня теории музыки, а Левин (в прошлом – наставник и учитель Яши Хейфеца) – игре на скрипке. Я дышал морским воздухом Одессы, купался, загорал, рос под ее небом. Звезды этого города светили мне ярким светом и прочили светлое будущее. Бродская синагога, Йосеф Клаузнер, консерватория, журнал «Ѓа-Шилоах» – все это воспитало меня в еврейском духе.

Клаузнер был моим наставником в изучении иврита. Я бывал у него дома, брал книги для чтения. В первое посещение он дал мне полное собрание Ялага² в черном переплете...

Участвовал я и в спортивном обществе «Маккаби». В Одессе я слышал выступления писателей Мордехая Спектора и Якова Фихмана, адвоката Оскара Грузенберга³; видел актрис Эстер Рахель Каминьскую и Клару Юнг, слушал еврейские народные песни в исполнении Изы Кремер⁴. Это был мир моей юности, моего становления. Все это живет во мне и по сей день.

(из «Дневника воспоминаний бывшего лагерника», перевод с иврита И. Б. Минца, М. изд. «Возвращение», 2005)

Но вот и до Одессы долетают с севера студеные ветра революций.

¹ Рав Цаир (ивр.) – молодой раввин.

² Ялаг - Иегуда-Лейб Гордон (1830-1892) – еврейский прозаик, публицист, поэт. Писал на иврите, идише и русском.

³ Оскар Грузенберг (1866-1940) – знаменитый российский адвокат, прозванный «Еврейским защитником». В числе прочих громких дел, представлял защиту на процессе Бейлиса.

⁴ Иза (Изабелла Яковлевна) Кремер (1887-1956) – знаменитая исполнительница песен и романсов, киноактриса, оперная певица. Начинала с репертуара идишских песен. Специально для нее была написана известнейшая песня «Майн штейтеле Бельц».

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

В конце зимы в Одессу приходят первые слухи о создании в Петрограде Думского Комитета во главе с Родзянко. Главой Временного правительства стал князь Львов, министром иностранных дел – Милюков, а Керенский сделался министром юстиции. Возник Совет рабочих депутатов. Одновременно арестовали членов прежнего правительства – Штормера, Сухомлинова, Протопопова и их товарищей. Потом вдруг объявили об отречении Николая Второго и о созыве Учредительного собрания, в задачу которого входило установление новой власти в будущей России. В городе бесконечной чередой пошли собрания и съезды, демонстрации и митинги, речи и овации, лозунги и декларации, непрерывная агитация, громогласные заявления.

Меньшая часть населения – аристократы, высокопоставленные чиновники, богачи, полицейские и служащие тайной полиции были страшно напуганы сотрясением государственных основ – земля под ними заколебалась. Зато большинство народа радовалось, ожидая перемен и улучшения жизни. Седьмого марта в Одессе состоялся парад местного гарнизона. Начальник штаба округа, генерал Маркс, с красной перевязью гарцевал на лошади во главе парада. С Дерибасовской на площадь маршем прошли солдаты, матросы и офицеры в галифе с алыми лентами, на их саблях и фуражках красовались красные флажки с надписью: «Да здравствует свободная Россия!» Оркестры играли Марсельезу, выступали представители различных партий, а сам Маркс произнес торжественную речь. Затем парад в полном составе промаршировал по улицам города.

Наступила весна, Одесса бурлила. Возникли всевозможные партии, звучали лозунги: «Война до победы! Слава армии! Слава флоту! Слава Временному правительству!» В кафе Фанкони принимали пожертвования в пользу больных и раненых бойцов. Проводились благотворительные распродажи, а гимназисты и студенты собирали на улицах деньги на общественные нужды.

Между тем возле керосиновых лавок уже выстроились длинные очереди – давали всего по литру на человека. Сахар продавался по талонам – два килограмма в месяц. Зато театральные залы и кинотеатры были полны. Ставились оперы, комические оперетты, шли концерты, в театре Болгаровой давали «Еврейский вопрос», в «Бар-Кохбе» – «Акедат Ицхак»¹. В Новом театре выступал ансамбль Боаза Юнгвица с участием Клары Юнг. Показывали «Ханче в Америке», «Жакеле – лжец», «Ой, Анна, останься», «Мадемуазель Оп-ля!». В кинотеатрах крутили фильмы с участием Веры Холодной, Полонского, Ивана Мозжухина и многих других известных артистов. Немое кино смотрели в музыкальном сопровождении.

Одним словом, жизнь кипела. В субботу вечером 11-го марта в театре Ришелье состоялось собрание сионистской молодежи, куда пришло столько юношей и девушек, что далеко не все смогли попасть в зал. Обстановка в зале была торжественной. Одновременно звучавшие песни «В Цион!», «Клятва», «Воспрянем!» производили невообразимый сумбур.

¹ Акедат Ицхак (ивр.) – жертвоприношение Исаака.

Меж трех миров

Первым выступил Менахем Усышкин. Он призвал к объединению еврейской молодежи и сплочению ее под национальным знаменем, к активным действиям по заселению Земли Израиля евреями. Публика сопровождала выступление бурными аплодисментами. Студент Михельсон говорил о проблемах сионистской молодежи, призывал не только думать о Палестине, но и бороться за права еврейского народа в странах диаспоры, за объединение национальных сил, развитие национального творчества. Это выступление вызвало жаркие дебаты. Собрание закончилось пением гимна: все встали, и сотни молодых голосов с воодушевлением спели «Хатикву».

(из «Неоконченной повести»)

«Сам Маркс произнес торжественную речь...» – по иронии судьбы, фамилия бравого генерала стала предвестником дальнейших, уже не столь праздничных событий.

Октябрь, ноябрь... С каждым месяцем все хуже в Одессе. Люди во власти тяжелых предчувствий; убийства стали обычным делом, причем не только по ночам. В городе свирепствует Мишка Япончик – главарь одесских уголовников, почти без помех действуют и другие преступные банды, появилось немало бандитов-одиночек. Дошло до того, что люди боятся выйти из дому с наступлением темноты.

Ухудшилась поставка продуктов питания. Нет угля. Мореходная торговая компания вынуждена прекратить движение судов по всем направлениям – в Николаев, Херсон, Очаков. Цены на товары первой необходимости словно живут отдельной лихорадочной непредсказуемой жизнью. Во многие дома пришла бедность. В воскресные дни по улицам ходят сестры милосердия и студенты с синими коробками, собирают пожертвования для нуждающихся. В городском саду состоялась лотерея в пользу одесского батальона «Железной дивизии» – у солдат нет теплой одежды. На Арнаутской улице создан Комитет из шестидесяти человек для помощи евреям, пострадавшим во время войны. Собирают деньги на свои нужды и поляки. Пришли вести о большевистском перевороте в Петрограде; главой правительства – Председателем Совнаркома – становится Владимир Ильич Ленин.

(из «Неоконченной повести»)

И в то же самое время – бурный всплеск еврейской культурной жизни, ее «пышное предсмертное цветение»:

...Кипела театральная жизнь. В театре Болгаровой поставили спектакль «Яков и Эсав». Труппа еврейских актеров под руководством режиссера Канапова показывала драму «Обострение» Рейзельмана, в которой блистала Мальвина Сигальская в роли Фани – дивы публичного дома. Лейтмотивом пьесы стала

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

мелодия «Кол нидрей¹». Во время Хануки показали спектакль «Волчок», который шел вместе с захватывающей драмой «Возвращение с фронта».

А до этого, в первый день праздника, проводили в последний путь Менделе Мохер-Сфарим. Площадь заполнилась множеством людей... Со смертью Менделе ушло в прошлое славное поколение просветителей, проложивших многотрудную дорогу к поистине светлым целям. Еврейская Одесса плачем провожала старого писателя. Пройдет несколько лет, и в городе ничего не останется от прежнего времени. Но в те годы Одесса еще бурлила еврейской культурной жизнью, еще светились в головах и на афишах имена Бялика и Равницкого, Клаузнера и Фихмана, Миньковского и Шульмана...

Последний всплеск, пышное предсмертное цветение! Близка уже страшная серошинельная безжалостная метла, готовая сокрушить и вымести, как мусор, все то, чем мы жили тогда, что было нам дорого и свято, вырвать с корнем самую память о тех замечательных людях. Ушли из жизни Фруг, Левинский, Лиlienблум, Абрамович – все они похоронены в Одессе...

Третьего декабря, в воскресенье, в Драматическом театре состоялся съезд общества «Маккаби». Доклад на тему «Маккаби как мировоззрение» прочел доктор Йосеф Клаузнер, учитель и кумир целого поколения. Выступили также доктор Бухшольц, доктор Мильман и другие. Еврейский хор исполнил песню «Золотой павлин» и другие народные напевы; юноши и девушки выступили с показательными гимнастическими упражнениями. Было много молодежи – красивых девушек, рослых и сильных парней – и присутствующие с гордым волнением взирали на это воплощенное олицетворение еврейской мечты о прекрасном и светлом будущем.

(из «Неоконченной повести»)

Но оставим Одессу – как оставил ее, окончив гимназию, девятнадцатилетний Цви-Гирш Прейгерзон. Ведь в течение всех счастливых одесских лет он не отрывался от семьи, регулярно наезжая туда на каникулы. Что в это время происходило в Кролевце и на родной Волыни, в мире Традиции?

Погромы Гражданской

А происходило там вот что:

В то время евреи повсюду прятались в погребках и на чердаках. Сидели, едва дыша, ловя доносящиеся снаружи звуки, стараясь истолковать их значение, одергивая детей, грозя дрожащим пальцем: «Тихо! Убийцы идут!» А убийцы вольготно разгуливали по улицам, горланя пьяные песни и гремя сапогами. То и дело слышался громовый стук прикладов в запертые двери, хрипая брань: «Жида, открывайте!»

Длинной была цепочка событий и поколений, приведшая нас сюда, в эти украинские местечки, в этот жуткий 1919 год, полный смертной муки и смертного

¹ Кол Нидрей (ивр.) – «все обеты» - молитва Судного дня, освобождающая от обетов и клятв.

Меж трех миров

ужаса. Глубоко было материнское чрево. Необъяснима была судьба, забросившая наш народ через моря и страны в этот чудовищный ад на гибель и растерзание.

Мой папа родился в городе Красилове, на Волыни. Его детство было тихим и бедным, а хлеб – скуден и груб. Он учил Тору, любил стихи Йегуды-Лейба Гордона, женился, зарабатывал на жизнь мыловарением. Я помню его склоняющимся к моей колыбели, где я лежу в одной рубашонке, помню его жесткую руку, которая осторожно касается моей щеки. Помню его печальные глаза...

Он был всего лишь евреем – типичным евреем из украинского местечка. Убийцы поставили его на табурет, а табурет – на стол, надели на шею веревочную петлю и выбили из-под ног табуретку. И сразу послышался в нашей комнате хрип смерти, задушенный, страшный хрип. Ноги отца судорожно задергались, лицо исказилось, и тогда один из убийц обхватил его и потянул вниз всей своей тяжестью. Он обнимал трепещущее тело моего отца обеими руками – в одной из них была зажата папина табакерка.

Из-за окна доносился лай собак – там разгуливала обычная осенняя ночь. Мать заломила руки и зарыдала в голос, как рыдают только в стране невыносимых мук.

(из рассказа «Мой первый круг»)

И это:

Долго слонялся я так по улицам местечка, баюкая у груди отрубленную руку. Но когда стало темнеть, и ночной ветер взревел в воздухе, как табун израненных коней, я повернул в сторону окраины. На выходе из города повстречался мне Архип Соловейко. Он явно торопился не опоздать к празднику, и из сапога его торчала рукоятка большого ножа.

– Эй, земляк, айда со мной! – крикнул Архип. – Там наши режут жидов!

И я повернулся, и побежал вместе с ним, и убийца-вечер поспешал рядом, обжигая наши лица могильным холодом. Западный край неба еще светился серым, но никто уже не обращал внимания на небо. Мы бежали по улице вместе с Архипом Соловейко – бежали, пока не наткнулись на какую-то еврейскую женщину. Она стояла, прислонившись к обледеневшей водосточной трубе, выла во весь голос, и в ее широко распахнутом рту поблескивали несколько золотых зубов. А сверху, над нею, на краю крыши, сверкали словно бы в такт ледяные зубья сосулек.

– Глянь-ка, баба! – воскликнул Архип. – А зубы-то, зубы-то золотые!

Он выхватил нож и воткнул его женщине в живот, а потом ударами каблука выбил из трупа желанную добычу. Только тут силы наконец оставили меня. Я лег и задремал, и встала надо мной дочь Сиона, еврейская женщина с прекрасными глазами, и бесконечная любовь светилась в ее улыбке.

– Мама, – сказал я и облегченно вздохнул. – Моя мамочка...

И дорога, долгая и красивая, легла перед нами, а над дорогой – круглое блюдце солнца, и виноградники, и чудные цветы, смеющиеся от полноты счастья.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

– И вот завтра ты уезжаешь от нас, Биньямин... – заканчивает свой рассказ однорукий Мошке, мой друг и брат.

Он надолго замолкает. С неба падают крупные звезды и теряются где-то в далеких полях. Ночь месяца Ава жарко целует нас в губы.

– Я хотел бы сойти с ума, Биньямин! – полу-шепчет, полу-стонет однорукий Мошке, и теперь уже умолкает окончательно.

Из ночных оврагов поднимается туман, слышен собачий лай. Тихо лежит перед нами почти уже опустевшее местечко. И кажется мне вдруг, будто ужасное чудовище мягкими прыжками прыгает там с крыши на крышу.

(из рассказа «Мой брат Мошке»)

И это:

В третий день месяца Тишрей, как раз на пост Гедалии, исполнилось Лизаньке девять лет, а в субботу праздничной недели Суккота пришли в родительский дом убийцы. Местечко плавало тогда в еврейской крови, и со всех сторон слышались крики истязаемых. Убийцы пришли ночью, когда лишь луна стучалась в темные окна дома. Они сунули Лизаньке в кулачок две спички, у одной из которых была отломана желтая головка, и отдали маму с отцом на волю жребия. Обломанная спичка выпала отцу – он сам вытащил ее из сжатого кулачка дочери. Его повесили на крюке, где до того висела большая лампа. Убийцы сорвали лампу, поставили папу на стол, затянули вокруг его шеи галстук смерти, а затем выбили стол из-под ног. Мама где-то кричала странным криком, отец дергался на веревке, и один из убийц подпрыгнул и, обхватив тело руками и ногами, стал раскачиваться вместе с повешенным.

После этого убийцы забили до смерти мать. Такова была суббота праздничной недели Суккота; осень шушукалась в огороде с увядшей ботвой, и тени ужаса бродили по пустым грядкам. После этого Лизанька несколько лет скиталась по большому миру, где слышны были лишь рык войны, вопли погромов и шум кровавой смуты. Гибельный страх объял тогда все дома и в один миг состарил даже юные души. В городе Бердичеве прибилась Лизанька к странной паре, которую составляли бывшая торговка рыбой по имени Песя и нищий-попрошайка Мешулам. С тех пор ходили они втроем из местечка в местечко по залитым кровью дорогам. На рынках и во дворах пели Мешулам-нищий и Лизанька-сирота печальные песни, от которых сжимается сердце любого еврея. Они пели, а бывшая торговка рыбой Песя кружилась под звуки немудрящей мелодии, плакала и посыпала голову пылью и пеплом.

(из рассказа «В начале месяца Ава»)

Страшные погромы 1918-1920 гг., временами граничившие с геноцидом, стали естественным продолжением чудовищного антисемитизма Первой мировой войны. Собственно, евреев убивали те же самые люди, которые грабили и депортировали их тремя – четырьмя годами раньше. Просто теперь они были

одеты не в форму российской императорской армии, а в петлюровские и деникинские гимнастерки или в пестрое «кто-во-что-горазд» многочисленных банд. Спасти от гибели и насилия можно было лишь одним-единственным способом – бегством. Именно так и описывает писатель уход своего героя-двойника в Красную армию – если, конечно, это паническое бегство можно назвать словом «уход».

Подавив рвущийся из груди крик, я бросился бежать вниз по темной безлюдной улице. Я мчался, чувствуя за собой топот преследователей, каждую секунду ожидая пулю в свою незащищенную, открытую убийцам спину. И многие тысячи моих гонимых, убитых, замученных предков бежали рядом, позади, сбоку от меня, прикрывая очередного еврея-беглеца своими телами, как плотной завесой бессмертия. Я мчался, скрежеща зубами, и выкрикивая бессвязные слова в кружащуюся передо мной кутерьму ночи, дождя и смерти.

– Беги, беги, беги! – кричал я. – Будьте вы прокляты, мои дни, и мои ночи, мои вечера и рассветы! Будьте вы прокляты, мои надежды, мечты моей жизни! Пусть постигнет вас гибель, удушье, убийство! Сдохните в болезнях, в проказе, в мерзости разложения! Пусть вас похоронят живьем!

...Не помню, как долго и куда несли меня ноги, но некоторое время спустя я оказался возле какого-то покосившегося забора. Я стоял там, неведомо где, и мотал головой из стороны в сторону, как заплутавшаяся лошадь. С другой стороны забора послышался выстрел.

– Стой!

Два солдата приблизились ко мне, и подхватив под локти, привели в деревню. Во дворе одного из крестьянских дворов была привязана лошадь – она стояла смирно и слегка мотала головой, как это только что делал я. В доме, прислонив к стене ружья, вповалку спали на полу солдаты. А в соседней комнате расхаживал из угла в угол вооруженный человек с длинными усами и совсем не страшным взглядом.

– Еще один, товарищ командир! – сказал солдат, подталкивая меня вперед.

Это был отряд Красной армии и его длинноусый командир Степаныч, заменивший мне на ближайšie месяцы отца. В этом отряде я прошел полями Гражданской войны – от родного местечка до конца, до самого Черного моря.

(из рассказа «Мой первый круг»)

Здесь важно: герой рассказа не *уходит* к красным, чтобы защищать родное местечко, потому что местечко в любом случае обречено; он *попадает* туда в результате панического безумного бегства, едва ли не случайно. Любой другой вариант закончился бы расстрелом или петлей; впрочем, к стенке могли поставить и красные. Все, в конечном счете, зависело исключительно от взгляда конкретного командира – к счастью, оказавшегося «совсем не страшным». Герою повезло – его взяли в отряд, как и самого Цви-Гирша...

Момент выбора

Оставшиеся годы Гражданской войны Прейгерзон прошел в составе Красной армии – от Черниговского Полесья до Одессы. Уехав из «города на море» выпускником гимназии, он вернулся туда бравым солдатом, красноармейское прошлое которого открывало многие двери – в том числе, и любых столичных институтов. В этот момент Цви оказался на распутье. Треугольник судьбы Традиция-Ассимиляция-Сионизм вновь предлагал молодому человеку важный тройственный выбор.

О первом полюсе не хотелось даже и думать. Что ожидало его там, «в уродливом сгорбленном местечке, в бесконечном круговороте пыли, снега и грязи», на пепелище Традиции? Смерть во время очередного погрома? Убогое прозябание в темной от времени и грязи синагоге вместе с кучкой бородатых стариков, бубнящих древние молитвы? Шорное, мыловаренное, портняжное ремесло? Нищенская доля меламеда, обучающего азам Торы сопливых мальчишек? Да и откуда им взяться, этим мальчишкам, если вся молодежь бежит или уже сбежала в большие города?

Ассимиляция? Именно этот малопривлекательный пункт назначения был обозначен на железнодорожном билете из Одессы в одну из северных столиц. Цви-Гирш пробыл у красных достаточно долго, чтобы понять: комиссары оставляют человеку не так уж много степеней свободы. Иврит к тому времени уже начали подводить под запрет; в евкомах и евсекциях ВКП(б) заправляли бывшие бундовцы, злейшие враги сионизма и еврейской традиции. В институте Цви должен будет вести себя как обычный советский студент; выйдет он оттуда советским инженером, строителем советского общества. Вряд ли этот образ жизни предполагает занятия, не одобряемые властью.

А его будущие дети? Они ведь пойдут не в местечковый хедер и не в еврейскую гимназию, а в общеобразовательную советскую школу; даже если родители смогут втайне вести двойную жизнь, можно ли требовать этого от ребенка? И если верно, что человек продолжается в детях, то у него, Цви-Гирша Прейгерзона, уроженца волынского местечка, ученика меламеда Песаха, школьника из гимназии «Герцлия», уже не будет еврейского продолжения. Пусть не сразу, пусть через годы, пусть только в детях или, в лучшем случае, внуках, он перестанет быть евреем. Его плоть и кровь забудет, что такое Рош Га-шана и Шавуот, зачем дан человеку Судный день и о чем скорбят Девятого Ава... Это и называется ассимиляцией, гибелью народа как отдельной сущности.

Оставался еще Сионизм – третий полюс. Многие друзья-ровесники Цви-Гирша из сионистских кружков Кролевца и Одессы определились тогда в пользу этого решения. С окончанием войны и распадом Османской империи уже не требовалось спрашивать турок, впустят ли тебя в Эрец Исраэль. Впустят-то впустят; вопрос – выпустят ли из Советской России? Прямое пароходное сообщение Одесса-Яффо так и не возобновилось. Большевики то ли по недоразумению, то ли по недосмотру, выпустили в 1919 году один пароход – старый грузовик «Руслан», кое-как приспособленный под пассажирское судно. Выпустили и тем ограничились. Кто успел вскочить на борт, тому повезло, а все прочие остались. В числе счастливых оказались знаменитый сионист Менахем Усышкин, а также старший друг и учитель Прейгерзона историк и просветитель Йосеф Клаузнер.

Официальные пути были, таким образом, перерезаны, но это не значило, что мечта добраться до Эрец Исраэль стала вовсе неосуществимой. Война многое поменяла; целые области отпали от России, отойдя к соседним странам, новые границы охранялись пока кое-как. Старый контрабандистский бизнес цвел в то время пышным цветом, и можно было без особого труда найти нужных людей, готовых за небольшую мзду переправить человека, а то и целую группу в Бессарабию или Польшу. Этим не вполне безопасным, но реальным способом пользовались тогда многие. Цви провожал друзей одного за другим, а сам все медлил и медлил. Почему?

Сейчас можно только догадываться, строить предположения. Несомненно одно: Эрец Исраэль по-прежнему жила в нем, ярко и сильно напоминая о себе. По-прежнему снился ему берег перед гимназией, и восточный базар в Яффо, и уроки алгебры на иврите, и белый молодой город в песках, и пешие походы по Стране. По-прежнему срывались с губ, перекатывались во рту, бурлили в гортани слова любимого языка. По-прежнему выводила рука любимые буквы, складывала их в слова, строчки, стихи и рассказы. Перенестись сию же минуту на Святую Землю – этого он наверняка хотел больше всего на свете. И все же, все же...

Люди, хорошо знавшие Цви Прейгерзона, обычно отмечали самую, пожалуй, характерную сторону его личности: повышенное чувство ответственности и неперенные спутники этого качества – осторожность и основательность в принятии решений. Для того, чтобы сесть в лодку контрабандиста и переправиться на румынский берег Днестра, навсегда оставив за спиной семью и близких, родной дом и долгожданную возможность получения высшего образования... – чтобы поступить так, требовалась не только горячая любовь к Эрец Исраэль, но и немалая доля авантюризма.

Возможно, Цви-Гирш говорил себе, что, окончив институт и получив профессию, он принесет Стране Израиля намного больше пользы, а ради этого точно стоит повременить. А богатство ивритской культуры, к которому юноша привык за время своего пребывания в Одессе, позволяло надеяться, что можно будет продолжить занятия любимым языком и в пределах Советской России. Хотя, с другой стороны, уже в начале 20-х было совершенно очевидно, что новая власть закроет границы, как только окажется в силах это сделать – а уж силу-то она набирала с пугающей скоростью. Была очевидной и нарастающая вражда большевиков (особенно, перешедших в ВКП(б) бундовцев) к ивриту. Вряд ли Прейгерзон полагался на авось – мол, кто знает?.. а вдруг станет свободнее?.. а вдруг начнут выпускать?.. Не такой он был человек, не в его характере было строить воздушные замки.

Он принял осознанное, обдуманное, ответственное решение, выбрав один из полюсов и пожертвовав двумя другими. И, с присущей ему высочайшей ответственностью, заплатил за этот выбор всей своей жизнью. Подобно не вовремя усомнившемуся пророку Моисею, Цви-Гирш Прейгерзон был лишен права вновь увидеть Эрец Исраэль. Но мог ли он знать это тогда, в начале 20-х, когда, проводив в сторону Днестра очередную группу друзей, купил себе билет до Москвы?

Конечно, нет. Впереди была еще вся жизнь. В таком возрасте никакой выбор не кажется окончательным. Разве всё не начиналось с Традиции, с хедера,

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

с местечкового меламеда? Разве не продолжилось Сионизмом – светской школой в Шепетовке, «Герцлией», спортобществом «Маккаби», сионистскими кружками в Одессе и Кролевце? Теперь вот треугольник накренился к полюсу Ассимиляции – Красная армия, Москва, советское студенчество. Ну так что? Наверняка, временно и это. Еще будет возможность тысячу раз всё поменять...

Ты всё там же – в несмелых тенях, в одеянье изгоя,
Стены тех же домишек над уличной грязью постылой,
Пусто в дюжине лавок, в молельне – бездельник унылый,
И всё тот же слепящий кошмар в суете и в покое.

Так же в пятые дни выпекают хрустящие дранки,
Собираются девушки – в танце оттаптывать ноги,
Старый реб Авраам всё постится, сердитый и жалкий:
«Ой-вэй, смилуйся, Бог милосердный, – пусты синагоги!»

И заплачет, завоюет молитва его на рассвете,
Обернув мою душу молчанием, болью и смертью...

Нет, прощай! Мне – туда, где ненастье, и солнце, и стужа!
Умирай, погребенное в пыльной и темной гробнице!
Хлеб изгнания в котомке – мы снова выходим наружу,
И грядущие дни нам сияют счастливой зарницей.
(стихотворение «Мое местечко», 1923, Москва)

И еще одно стихотворение, написанное Прейгерзоном двумя годами позже и обращенное уже к двум покинутым полюсам сразу:

Ты не мать нам, а мачеха, родина углых надежд?
Из забытых углов, из лачуг, из кошмара ночного
Беглецы и рабы, мы к тебе обращаемся снова,
Словно дети-сироты в коросте заплаканных вежд.

Неужели твой берег в тени, и подмокли святыни?
Неужели ошиблись пророки, и лгут старики? –
Как заблудшее стадо, мы бродим по мёртвой пустыне,
Без тропы и колодца, без твёрдой и верной руки.

«И будет, в последствии дней...» – мы отчаялись ждать, Всемогущий!
Потихоньку поднимаемся – прочь из юдоли страданий!
Дряхлый рабби останется здесь, одинокий и ждущий –
Вечный жид в захолустье, с котомкой привычных рыданий.

(стихотворение «Палестина», 1925, Москва, первый день Рош-Г'а-Шана)

Как видите, этот высокоодаренный во многих отношениях человек писал не только прозу. Полтора-два десятка созданных Прейгерзоном стихотворений займут потом отнюдь не последнее место в его литературном наследии. Но это потом, а пока, «отчаявшись ждать» избавления, лелея в котомке не столько горький, сколько крайне скудный в те голодные годы «хлеб изгнания», Цви Прейгерзон едет на перекладных, на крышах и буферах переполненных вагонов в направлении «счастливых зарниц». Но долг путь до Москвы. Попробуем все же ненадолго задержаться и посмотреть, что происходит в этот момент «в пыльной и темной гробнице» покинутого местечка.

Гибель российского иврита

А там, как выясняется, кипят нешуточные страсти. В окончательном захваченных Советами местечках празднует победу торжествующий Бунд в черной кожаной тужурке ЧК и с партбилетом ВКП(б) в кармане. Предыдущие два десятилетия он отчаянно сражался за влияние с несколькими соперниками. Помимо сионизма его главенству среди еврейской молодежи мешали коллеги-социалисты: большевики, меньшевики, эсеры и «независимые» (партия Зубатова и Мани Вильбушевич). Все они были тогда примерно в равном положении: все под запретом, все доносили друг на друга в охранку, все друг друга ненавидели и старались навредить друг другу как можно больше, хотя и вынужденно сотрудничали время от времени.

Но с захватом власти большевиками ситуация поменялась кардинальным образом. Теперь не нужно было перекрикивать соперника на митинге или доносить на него в полицию – достаточно было на совершенно законных основаниях поставить его к стенке во дворе местного отделения ЧК. Что, собственно говоря, и делалось; на российской политической карте быстрыми темпами утверждалась исключительная монополия ВКП(б). Все прочие либо расстреливались, либо выталкивались за границу. Перед лицом аналогичной угрозы оказался и Бунд.

Сначала он попробовал было упереться на Украине, где одно время активно боролся с большевиками, поддерживая правительство Центральной Рады и даже петлюровскую Директорию. Глава республиканского Бунда Моше Рафес и известный публицист-бундовец Моисей Литваков в своих статьях и выступлениях 1918 года яростно кляли коммунистов, обвиняя их во всех смертных грехах. Но уже через год, когда стало ясно, в чью пользу склоняется чаша весов, Рафес и Литваков совершили поразительный политический кульбит, поменяв свои взгляды на прямо противоположные. Левые фракции Бунда откололись от своей партии и влились в состав большевиков либо напрямую (в Белоруссии), либо через создание временной буферной организации Коммунистического Бунда (Комфарбанд, в Украине).

В обоих случаях бывшим бундовцам пообещали организационное самоуправление, которое должно было отражать главное кредо этой партии – национально-культурную автономию евреев в рамках социалистической

свободной России. В обоих случаях эта автономия, отчасти нашедшая выражение в создании Еврейской секции ВКП(б) и Еврейского отдела при Комиссариате по делам национальностей (соответственно, Евсекция и Евком), постепенно урезалась, пока не была отменена вовсе в 1930 году. Но и на пике этой скудной самостоятельности бывшие бундовцы (как и левые раскольники из партии социалистов-сионистов «Поалей Цион») вынуждены были всецело подчиниться большевикам, которые ни на минуту не уступали общего руководства: главой Евсекции и комиссаром Евкома стал член РСДРП с 1904 года большевик Семен Диманштейн.

Диманштейн проводил в жизнь политику, недвусмысленно сформулированную вождем мирового пролетариата еще в 1913 году.

«Еврейская национальная культура, – писал тогда В. И. Ленин, – лозунг раввинов и буржуа, лозунг наших врагов... Кто прямо или косвенно ставит лозунг еврейской «национальной культуры», тот (каковы бы ни были его благие намерения) — враг пролетариата, сторонник старого и кастового в еврействе, пособник раввинов и буржуа. Наоборот, те евреи-марксисты, которые сливаются в интернациональные марксистские организации с русскими, литовскими, украинскими и пр. рабочими, внося свою лепту (и по-русски и по-еврейски) в создание интернациональной культуры рабочего движения, те евреи — вопреки сепаратизму Бунда — продолжают лучшие традиции еврейства, борясь против лозунга национальной культуры».

Именно такими «евреями-марксистами» и предстояло стать влившимся в ВКП(б) бундовцам Рафесу, Литвакову, Фрумкиной и их товарищам-ренегатам. Что они и проделали, продемонстрировав замечательную политическую гибкость — ведь именно «лозунг национальной культуры» и составлял раньше главное содержание программы их бывшей партии. Но если здесь им пришлось-таки поступиться принципами, то в отношении к ивриту — «реакционному языку иудаизма и сионизма» — бундовец Рафес совершенно солидаризировался с большевиком Диманштейном. Иврит должен был погибнуть — окончательно и бесповоротно, по крайней мере, в России.

«Не мог понять в сей миг кровавый / На что он руку понимал...» — горестно сокрушался Лермонтов, которому убийство создателя современного литературного русского языка совершенно справедливо казалось крушением основ национальной культуры. Чтобы понять, на что поднимали руку Ленин, Сталин и их еврейские инквизиторы Рафес и Диманштейн, необходимо хотя бы кратко описать, что представлял собой российский иврит к моменту его запрещения декретом Народного комиссариата просвещения от 1919 года.

В стране действовали сотни учебных заведений с преподаванием на иврите. Выходили периодические издания — литературные журналы, газеты, альманахи. Они рассылались по подписке в сотни городов и населенных пунктов России, причем число читателей неуклонно росло. Разветвленная сеть общества «Тарбут»¹ включала множество активно работающих местных филиалов. На организованный «Тарбутом» съезд учителей иврита съехались в Одессу более

¹ Тарбут (ивр.) — (культура) — еврейская культурно-просветительская светская сеть школ, детских садов, библиотек и сотен других подобных учреждений в России, Польше, Прибалтике и Румынии, созданная после начала Первой мировой войны.

тысячи делегатов. Одесские, петербургские, московские издательства в массовом порядке выпускали ивритские учебники, печатались переводы на иврит классиков мировой литературы, оригинальная ивритская проза и поэзия – Бялик, Черниховский, Менделе Мохер-Сфарим, Ицхак Перец, Ахад-га-Ам, Шолом-Алейхем и многие, многие другие.

Пользовались огромной популярностью спектакли московского ивритского театра «Габима», где великий Вахтангов поставил драму С. Ан-ского «Дибук». Чуть позже комиссар Диманштейн, сам родившийся в семье раввина, назвал это замечательное явление театрального искусства «прихотью представителей буржуазии, которые хотят вернуть евреев к религиозным предрассудкам».

Речь тут шла, таким образом, не о бледном провинциальном отростке израильской языковой метрополии, но о мощном, бурлящем живыми соками стволе – как минимум, не уступавшем параллельному движению, которое пока еще только набирало силу в молодых поселениях Эрец Исраэль. Все это большевики пустили под нож. Поначалу иврит еще сопротивлялся, создавая подпольные школы, кружки молодежи, образовательные и спортивные общества, но силы были слишком неравны: на стороне евсеков и евкомов стоял ангел смерти в лице недремлющей ЧК.

Уже в начале 20-х годов заниматься ивритом в России стало небезопасно. Цветущий сад молодой ивритской культуры – плод многолетних усилий тысяч людей – писателей, учителей, общественных деятелей, подвижников – был безжалостно вытоптан грубым большевистским сапогом. Скольких сокровищ недосчиталась ивритская культура в результате этого преступления! Без всякого преувеличения можно сказать, что, не случись этого языкового геноцида, нынешний уровень израильской (да и многонациональной российской) литературы, а также искусства и культуры в целом был бы сейчас, как минимум, вдвое богаче.

Самое отвратительная деталь этой истории заключается в том, что иврит в России уничтожали руками евреев – большевиков, бундовцев, еврейских ренегатов и предателей своего народа. Комиссар Семен Диманштейн не чувствовал необходимости притворяться, будто он уничтожает иврит (язык раввинов и лавочников) во имя идиша (языка угнетенного пролетариата и бедноты). Этими соображениями тешили себя его бундовские коллеги, не оставлявшие надежд вернуться к заветной концепции автономизма. Но не за горами была и их очередь. В конце 30-х пришла пора класть голову на плаху и деятелям бывшей Евсекции.

Сталин и его соколы, подталкиваемые природной юдофобией широких народных масс, вполне разделяли антисемитский пафос Гитлера. Уничтожение иврита, санкционированное летом 1919 года наркомом по делам национальностей Сталиным и наркомом просвещения Луначарским, стало лишь первым шагом на не столь длинном пути к убийству Михоэlsa, расстрелу членов Еврейского антифашистского комитета и «делу врачей», к задуманной депортации советских евреев на Дальний Восток, к виселицам на Красной площади и «окончательному решению» еврейского вопроса.

Семен Диманштейн был расстрелян в 1938 году. Главред идишской «Правды» (Дер Эмес) Моисей Литваков умер в тюрьме годом раньше. Моше

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Рафес и Малка Фрумкина сгнили в ГУЛАГе в 1942 и в 1943 годах соответственно. Самуил Агурский умер в казахстанской ссылке в 1948-ом. Их менее заметных соратников постигла та же судьба.

Вот как описывает разразившуюся в 1919 году катастрофу Цви Прейгерзон:

Но что же бедные, замученные петлюровцами и разгромленные бандитами еврейские местечки? Что с ними – словно проклятыми самим Господом?! Большинство общин еще дышат, но погодите, их еще ждет *окончательное решение*. Пример его можно обнаружить в Ромнах. Там безжалостно разгоняют еврейскую общину и ликвидируют все ее культурные заведения, взамен которых над дымящимися руинами еврейского духа возносится евком, возглавляемый бундовцем. И первое, что он делает – обкладывает население немислимым налогом на сумму в полмиллиона рублей... С революционным энтузиазмом ликвидируются религиозные школы и учреждения. Впрочем, были и некоторые послабления: например, еврейская больница и дом престарелых продолжают свою работу. Кроме того, высочайше разрешат выпекать мацу к Песаху.

А в большинстве еврейских общин продолжается шумная, беспорядочная суэта, бесконечные склоки, вражда между сторонниками иврита и идиша. И под шум этого беспомощного, обреченного гвалта прокладывает себе дорожку русский язык. В шкафах еще безмолвно ожидают своей участи книги на иврите, религиозные и светские. Воспоминания об их предсмертном молчании разрывают мне сердце...

Поглощение – неважно, добровольное или насильственное – еврейских партий Евсекцией ускорило исполнение приговора, вынесенному ивриту и ивритской культуре. Казалось, еврейские ревнителю большевизма совсем обезумели, словно в их вены вкололи сыворотку зависти и подлого карьеризма, вирус жажды власти, главенства и почета! Летом 1919-го года разразилась настоящая беда. В начале июня в Москве прошел Второй съезд еврейских секций и комитетов. В нем приняли участие тридцать два делегата: двадцать пять от центральной России, пять – от Белоруссии, два – от Украины. Эта ничтожная горстка самозванцев объявила себя представителем всего еврейского народа, миллионов людей, которые были обречены на жестокие страдания и лишения на просторах истерзанной страны.

Съезд обратился к соответствующим компетентным органам с предложением закрыть все национальные и культурные организации на языке иврит. Возражений не последовало. 4-го июня 1919-го года Коллегия Наркомпроса – Народного комиссариата по просвещению – приняла дополнение к Постановлению о языке в школах национальных меньшинств. Дополнение гласило: *«Родным языком массы трудящихся евреев, проживающих на территории РСФСР, является только идиш, но не иврит!»*

Напрасно раввин Мазе пытался доказать Луначарскому, что иврит – тоже язык еврейского народа. Комиссар Диманштейн от имени пролетариата выступает с категорическим опровержением: «Неправда! Лишь идиш был, есть и будет

Меж трех миров

истинным языком еврейских народных масс!» Иврит окончательно приговаривается в России к уничтожению.

Уже 17-го июня член Евкома Агурский подписал декрет о ликвидации Совета еврейских общин и всех его отделений, действующих на территории Российской социалистической республики. Одной из целей декрета называли пресечение антипролетарской деятельности общин в области культуры, которая, по мнению властей, наносила вред молодому поколению. Декрет был утвержден тогдашним наркомом по делам национальностей Иосифом Сталиным.

Во исполнение указания ивритская школа при московской общине – та, что на Пятницкой – была немедленно переведена в систему общего образования, официальным языком обучения которой стал идиш. А вслед за этим в июле 1919-го года по всем городам Советской России был разослан приказ, подписанный комиссаром Евкома Диманштейном. В нем предлагалось в кратчайшие сроки ликвидировать все еврейские организации, а культурную деятельность общин сосредоточить в рамках евкомов и евсекций.

Это означало конец еврейских общин в России.

Новый глава украинской евсекции Рафес, еще год назад проклинаясь большевиков, из кожи лез, чтобы искупить грехи прошлого. Вместе со своими сподвижниками он немедленно принимается за уничтожение ивритской культуры. Уже в июле 1919-го года Высший комитет еврейского Фарбанда на Украине обратился в НКВД с просьбой немедленно прекратить деятельность еврейских национальных организаций. Среди прочего эти организации обвинялись в том, что пытаются искусственно внедрить в еврейскую среду язык иврит, и это наносит непоправимый урон тем школам, где учатся на идише – общепризнанном языке народных масс.

Эту просьба подписана фамилиями деятелей украинского Комфарбанда во главе с Рафесом. Тотчас же в НКВД создается специальный комитет по ликвидации, а спустя несколько дней во все края и области советской Украины летят телеграммы с приказом немедленно прекратить деятельность «Тарбута», Института по научным исследованиям еврейских общин, общества «Эзра»¹, профессионального объединения ивритских писателей, сообществ «Маген-Давид Адом»², «Хевра Кадиша» и т.д. По-видимому, Рафес опасался, что мертвецы – клиенты «Хевра Кадиша»³ также являются агентами мировой буржуазии!

Членов руководства и ответственных секретарей всех этих организаций обязали срочно прибыть в Ревтрибунал и дать подписку о прекращении деятельности. В противном случае угрожают арестом и судом. Под декретом подписи: Власенко от НКВД, и три члена ликвидкома во главе с Рафесом.

Через некоторое время Рафес рапортует об исполнении поручения: козни буржуазных защитников иврита успешно пресечены карающим мечом диктатуры

¹ Эзра (ивр.) – помощь – филантропическое общество поддержки неимущих евреев Восточной Европы, созданное в начале XX века богатыми немецкими евреями.

² Маген-Давид Адом (ивр.) – Красный щит Давида – еврейское общество скорой медицинской помощи, аналогичное Красному кресту. Существует в Израиле по сей день.

³ Хевра Кадиша – еврейское похоронное общество.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

пролетариата. Контрреволюционеры арестованы, их организации и комитеты ликвидированы...

Плохо стало ивриту в России. Никто не встал на его защиту. Даже лучшие наши писатели и мыслители предпочли не вмешиваться. Хаим-Нахман Бялик – гордость еврейского народа – в начале 1921-го года хлопотал лишь о разрешении на выезд из Советской России. По ходатайству Горького оно было получено; Бялик, Черниховский¹, Равницкий² и многие другие, с семьями и без них, покинули Россию легальным путем. Еще многие тысячи уехали без официального разрешения, разъехались по странам, где пока не было погромов и гонений, где евреям еще разрешали жить по своим законам и традициям.

Цвет еврейского народа покидал страну, но евсеков это только радовало. Вот, например, что писал тогда Литваков: *«Бялик превратился в источник грязных сплетен против советского строя. Бялик – игрушка в руках спекулянтов-евреев. В сионистском болоте Бялик перестал существовать как поэт».*

(здесь и далее – из «Неоконченной повести»)

Суд над хедером

Но самым, пожалуй, чудовищным представлением этого фестиваля гонений и подавления стали показательные суды над хедером.

Наступил сезон охоты на меламедов, раввинов, учителей иврита. Остервенелые цепные псы получили полную свободу в преследовании беззащитных жертв. В Радомысле арестовали многих верующих и меламедов. Суд над ними проводился на идише. В Харькове судили хедер и еврейскую религию как таковую! На помощь евсекам пришла Одесса, где был создан специальный ликвидационный комитет. В его задачу входило обнаружение и ликвидация хедеров и ешив.

В Гомеле, Витебске, Минске, Староконстантинове, в сотнях городах и местечках состоялись показательные процессы. Под суд пошли и, конечно же, подверглись решительному осуждению хедеры, меламеды и раввины – *дикари и фанатики*. Не оставили своим вниманием и субботу. Широко размахнулись евсеки против Рош-ѓа-Шана³ и Йом-Киппура⁴. Дошло до показательных судов над праздниками. В Одессе, Харькове и других местах судили раввинов.

Яростно громила субботу и праздники газета на идиш «Дер Эмес» и ее неутомимый редактор, Моше Литваков. Он был одержим одной заботой: разоблачить и пригвоздить к позорному столбу всех тех, кто блюдет традиции, чтит субботу, отмечает еврейские праздники. Казалось, Литваков пишет не чернилами, а ненавистью.

¹ Шауль Черниховский (1873-1943) – видный еврейский поэт, писавший на иврите.

² Иегошуа Равницкий (1859-1944) – известный еврейский литератор, публицист, просветитель, писавший на иврите и на идише.

³ Рош-ѓа-Шана (ивр.) – еврейский новый год.

⁴ Йом-Киппур (ивр.) – Судный день.

Прейгерзону выпало воочию наблюдать подобный суд, который был организован евкомом его местечка. Писатель в подробностях рассказал об этом типичном для первой половины 20-х годов мероприятии лишь в «Неоконченной повести», к созданию которой приступил почти сорок лет спустя, незадолго до смерти. Главы, посвященные кампании по уничтожению иврита, словно написаны другим человеком – таким ядовитым сарказмом наполнены фразы, так резки и бескомпромиссны оценки, с такой карикатурной определенностью обрисованы отрицательные персонажи. Полно, да Цви Прейгерзон ли это, чей юмор всегда мягок и мудр, а высказывания сдержанны и хорошо взвешены?

Видно, что и после четырех, мягко говоря, непростых десятилетий разговор на эту тему причиняет писателю такую боль, что он просто не в состоянии обуздать свой гнев, свое отчаяние при воспоминании о свершившемся тогда преступлении против еврейской Традиции. Позвольте, но как это согласуется с описанными выше настроениями, с которыми Прейгерзон покидал разоренное войнами и погромами местечко? Не он ли бежал без оглядки со своей малой родины, не он ли называл ее «пыльной и темной гробницей»?

Он. Он бежал, он называл, он сидел вместе с несколькими сотнями сограждан-соплеменников в переполненном зале местечкового клуба имени Розы Люксембург. Возможно, тогда он испытывал лишь чувство неловкости, стыда, глубоко запрятого протеста; возможно, полагал происходящий фарс попутными издержками необходимых требований времени. Несомненно, на мой взгляд, одно: в первой половине 20-х годов Прейгерзон не описывал бы суд над хедером в тех же словах и выражениях, которыми воспользовался во второй половине 60-х.

Просто с высоты прожитых лет и накопленного – а точнее, неподъемным грузом взваленного на плечи – исторического опыта всё это казалось писателю уже совершенно другим. В треугольнике Традиция – Ассимиляция – Сионизм снова сместился центр тяжести, и по-новому преломленный взгляд на вещи диктовал принципиально иное понимание «необходимости» и «попутных издержек».

Итак, суд над хедером. Его в местечке организует местный председатель евкома Аба Коган, бывший бундовец, ныне большевик. Аба – молодой человек кипучей энергии, работающий не за страх, а за совесть. Сионистский иврит и религиозное мракобесие он ненавидит прежде всего искренне, а уже потом по долгу службы.

В городке поговаривали, что у бундовца-евсека Абы Когана выросли крылья, как у ангела, вот только белые эти крылья лишь с одной стороны, а с другой – чернее сажи. Потому что задачей Абы стало наведение в городке настоящего пролетарского порядка. А какой может быть порядок, если в местечке открыто продолжают действовать сразу пять хедеров?

Одновременно он готовит открытие новой школы, где языком обучения будет идиш. Для этого уже нашли двух учителей. Первый – Леви Берман – лет сорока, худой, со светлой бородкой и приплюснутым носом. В прошлом он учитель иврита. Но если у тебя на руках жена, четверо детей, две бабушки, и все кушать

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

просят, то выбирать не приходится. Теперь Берман вынужден поддерживать не любимый иврит, а кормящий семью идиш. А вот второй учитель, он же директор школы Ицхак Левинсон – бывший бундовец. Уж он-то всем сердцем предан Абе Когану и идишу.

Вообще-то у Когана достаточно власти, чтобы запретить хедеры простым волевым решением – на то уже есть соответствующий столичный декрет. Но помимо публичного декрета из Центральной евсекции на места спускаются конфиденциальные и очень подробные директивы и инструкции, предписывающие развернуть широкую пропагандистскую кампанию. В предстоящем спектакле всё расписано заранее – и интрига, и состав действующих лиц, и конечно, финал. Обеспечен и аншлаг:

Суд планировалось провести в клубе имени Розы Люксембург. В помещение пускали только по билетам – так, чтобы пришло как можно меньше нелояльно настроенного населения. Это еще больше усилило ажиотаж. Развлечений в городке было немного, поэтому попасть на спектакль хотели без преувеличения все. Подумать только: хедер судят! Люди бросились доставать билеты – прямыми и окольными путями, кто как мог.

Для начала Аба Коган назначает экспертную комиссию, дабы та проверила все пять хедеров и представила суду соответствующий доклад. Члены комиссии, а также судебные заседатели (в председатели суда Аба определяет себя самого) – проверенные люди, бывшие бундовцы. Но им предстоит лишь докладывать или выносить приговор. Куда сложнее задача у прокурора: помимо обличительной речи, он должен будет отвечать на витиеватые доводы раввинов и мракобесов. Его облик в повести и вовсе карикатурен:

После долгих размышлений на эту важную роль утвердили члена партии Исера Рабиновича. Ныне дипломированный адвокат, он в юности посещал и хедер, и ешиву, был умен и находчив. Рабинович вовремя понял, куда дует ветер, и тут же заделался антиклерикалом, полностью отойдя от религии.

Говорили, что он нечист на руку и проворачивает какие-то темные делишки. В жизни Исера было два страстных увлечения – карты и женщины. До революции он регулярно менял молоденьких служанок, поэтому к нему не без основания прилепилась весьма дурная слава...

На момент суда Исер еще числился в большевиках. Забегая вперед, скажем, что через несколько месяцев его исключат из партии в результате «чистки». Но это будет позже, а пока что, после нескольких бесед с Абой Коганом, он признан самой подходящей кандидатурой на ключевую роль прокурора. Когану Рабинович сразу понравился: ему нужен был именно такой человек с гибкой совестью и хорошо подвешенным языком.

Судебный процесс открывается в переполненном зале. Люди стоят в проходах, за креслами, заглядывают с улицы в окна.

Меж трех миров

На сцене установлен длинный стол, покрытый красным сукном. За столом разместились трое судей. Справа от них – комиссия по проверке и прокурор, слева – секретарь и защитник. Их глубины сцены строго смотрит с портрета бородатый Маркс, по бокам у него два портрета – Ленина и еще одного бородача, чье имя нынче не принято упоминать в приличном обществе.

Первое заседание всецело посвящено докладу комиссии, чьи рекомендации ожидаемо неблагоприятны для хедеров. Впрочем, есть и неприятные для Когана накладки: один из докладчиков, местечковый врач-венеролог заявляет, что санитарные условия одной из школ (принадлежащей упраздненной большевиками просветительской сети «Тарбут») весьма неплохи. Другой эксперт, учитель географии, положительно отзывается о программе этой школы (что тоже решительно противоречит инструкции из центра!), а в конце речи высказывает и вовсе крамольную мысль, что родителям, желающим обучать своих детей ивриту, должны быть предоставлена такая возможность.

Ситуацию спасает лишь бескомпромиссное выступление председателя комиссии, не оставляющее места для контрреволюционных сомнений и колебаний: в хедерах царит антисанитария, мракобесие и телесные наказания; пролетарским детям забивают головы бесполезной белибердой; мелаamedы глупы и невежественны... – и так далее, и тому подобное.

На следующий день назначен допрос свидетелей. Зал клуба имени Розы Люксембург вновь забит до отказа. Идущий на его сцене спектакль до смешного напоминает средневековые религиозные диспуты – с той лишь разницей, что последние многократно и во всех деталях запотоколированы в летописях и трактатах, в то время как гротескная история советских судов над хедером так и канула бы в вечность, если бы не повесть Цви Прейгерзона. Его описанию можно доверять – в отличие от показаний свидетелей обвинения, подготовленных Абой Коганом.

Противоположная сторона выставляет своих свидетелей. Конечно, Аба с удовольствием обошелся бы и без них, и без адвоката-защитника. Но вот беда – столичная инструкция настаивает на том, чтобы предоставить мракобесам право на защиту. Новая власть должна продемонстрировать, что не боится открытого диспута со старым миром. Ведь, как указывает вождь, «учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Увы, к неудовольствию евсеков, слушатели с сочувствием встречают ответы учителя иврита Штейна, ремесленника Аарона Шацова и старого мелаameda Авраама. С точки зрения марксистской теории, их слова в принципе не могут быть верными – отчего же они так сильно (хорошо еще, что не «всесильно») воздействуют на аудиторию, которая то и дело взрывается аплодисментами?

Штейн вслед за комиссией соглашается, что хедеры прискорбно бедны и антисанитарны. Но это следствие ничтожной платы за обучение, которую взимают мелаamedы, – да и то только с тех, кто в состоянии заплатить, а совсем уже нищих учат даром. Помогите им материально – и можно будет купить новые парты и книги, посадить детей в светлые большие комнаты. Логичней поступить

так, чем разрушать систему, которая на протяжении веков обеспечивала поголовной грамотностью нищие еврейские местечки.

Плотник Шацов говорит, с трудом подбирая слова. Но на эти его трудные слова столь же трудно возражать, поскольку плотник, согласно инструкции из центра, самый что ни на есть пролетарий. Плотник Шацов вспоминает своего отца, пославшего его в хедер. Разве отец не был уважаемым человеком? «Был уважаемым, – единодушно подтверждает зал. – Помним, как же. Кто же не помнит плотника Шмельке Шацова...» Ну вот. Отчего же теперь Шацов-сын не может пойти по стопам покойного родителя и послать в хедер своего Хаимке? Разве не так поступает весь его род с незапамятных времен?

Старый меламед Авраам одет бедно, как все меламеды. Ему уже за семьдесят, и он кажется наивным бесхитростным стариком. Но это только кажется: вместе с Авраамом на свидетельскую трибунку выходят сотни поколений евреев – участников подобных споров и диспутов перед лицом власть имущих. И он словно чувствует за спиной эту немереную мощь и оттого ничуть не боится ловушек, заготовленных для него лукавым прокурором Исером Рабиновичем. Слушая простые, но находчивые ответы меламеда, аудитория хохочет и хлопает в ладоши.

Закрывая судебное заседание, Аба Коган не скрывает своего разочарования: второй день прошел даже хуже первого. Что ж, он еще отыграется, ведь впереди самое главное – речь обвинителя и объявление приговора.

Назавтра суд открывается речью прокурора Исера Рабиновича. Долго, в течение нескольких часов он говорит об отжившем реакционном явлении хедера, об отравлении и оболванивании детей мракобесной идеологией буржуазии и клерикалов, о безнравственном характере Торы и Талмуда. Но больше всего достается от него ивриту – языку раввинов и лавочников.

Голос Исера Рабиновича звенит. Прокурор гордо стоит на сцене клуба имени Розы Люксембург, его сверкающие глаза прозревают счастливое будущее. На этом величественном пророке наших дней – серые брюки и украинская рубашка с вышивкой; голову его украшает аккуратная лысинка величиной с ладонь.

– Через одно или два поколения никто и не вспомнит об этом гнилом иврите, он пропадет на свалке истории точно так же, как ушли в небытие десятки других мертвых языков. У вашего иврита нет никаких шансов на выживание! – прокурор гневно притопывает ногой, словно ставя печать на своем утверждении. – Нет и не может быть никаких шансов у вашего Пятикнижия, у вашего Раши¹! Мы, молодые представители рабочего класса, создадим нашу передовую культуру на идише, языке трудового народа. В борьбе между идишистами и гебраистами победили мы, революционеры.

Вы продолжаете болтать о национальном единстве, о братстве всех евреев. Знаем! Слыхали! Эти песни предназначены для усыпления пролетарского самосознания трудящихся. Нет и не будет никакого национального единства! Нет и

¹ Раши – Рабейну Шломо Ицхаки (1040-1105) – один из крупнейших законоучителей и толкователей Танаха и Талмуда, по книгам которого учатся по сей день.

Меж трех миров

не будет никакого единого еврейского народа! Нет единого еврейства! Есть только два действительно враждебных лагеря: вы – реакция, буржуазия, раввины и святоши, и мы – труженики, пролетарии, крестьяне. Октябрьская революция дала нам возможность подняться, и мы готовы к действию!

Как бы в подтверждение своих суровых слов, Исер Рабинович грозно расправляет плечи.

– Да-да, мы готовы к действию, так что не ждите пощады. Советская еврейская школа не будет загаженным хедером или ешивой, где протирают штаны будущие раввины – бездельники; это будет современная школа с обучением на родном языке, без Пятикнижия, без Раши и пипернотера¹. Наша школа будет жить и расцветать, а в ней будут учиться новые поколения свободных граждан, целеустремленных тружеников, вооруженных единым народным языком и культурой. Вы увидите еще университеты с преподаванием на идише! У нас появится богатая пролетарская литература! Рядом с классиками – Шолом-Алейхемом, Менделе и Перецом, появятся другие писатели. Мы высоко поднимем знамя народного языка, а вы, националисты, рухнете вместе со своим ивритом в глубокую пропасть, исчезнете с исторической сцены.

Мы с вами – враги, мир между нами невозможен. Вы ненавидите нас, мы ненавидим вас. Но сейчас победители – мы, и потому мы выметем ваш хедер поганой метлой из наших городов! А вместе с хедером еврейский пролетариат сметет с лица земли и вашу религию с вашим ивритом. Моисей, Мессия, гнилой хедер – все это мертвые идола! Начинается другая эпоха на еврейской улице. Товарищи судьи! Выполните свой святой долг! Смерть хедеру! Да здравствует Октябрьская революция! Да здравствует мировая революция! Смерть буржуям!

Но и Перец Кац – защитник, выбранный обвиняемыми – не остается в долгу. У него нет юридического образования – до революции Кац занимался мелкой торговлей. Убежденный сионист, он не раз схлестывался с бундовцем Абой Коганом на митингах 17-го года, когда это еще было возможно. Сейчас трибуны прочно захвачены большевиками, а все прочие ораторствуют на допросах. Каца тоже забирали в ЧК, но почему-то отпустили, хотя, если спросить Абу, такого контрреволюционера следовало бы сразу поставить к стенке.

Перец Кац не питает иллюзий относительно приговора, поэтому он не защищает хедер, а сразу переходит к обвинениям в адрес обвинителей. Их главная цель, по мнению Каца, вовсе не уничтожение хедера и иврита, а ассимиляция народа, прекращение его существования как отдельной группы людей, обладающей собственными особенностями, подобно другим народам. Он предсказывает близкий конец идиша, который якобы должен заменить иврит, – ведь первый питается корнями второго. Он говорит о высоком нравственном значении Танаха, об иудейской традиции – фундаменте бытия еврейского народа.

Почему вы отказываетесь понимать эту очевидную истину? Почему вместо этого вы уничтожаете хедер, язык иврит, ивритскую культуру и, в конечном счете,

¹ Пипернотер – идишское слово, обозначающее (здесь) очевидную нелепость.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

наш народ? Власть нынче в ваших руках, дорогие товарищи, кто может вам противостать? Но знайте... – Песах Кац повернулся к судьям. – Если сегодня вы подпишетесь под решением о закрытии хедера, то это станет подписью на смертном приговоре всему нашему народу. Пройдут годы, вы поймете свою ошибку и раскаетесь. Но будет уже поздно. Ваши имена будут заклеены позором, печатью Каина! Потому что здесь, на этом суде, вы убиваете собственный народ! Убийцы!

Без сомнения, устами Переца Каца говорит сам Прейгерзон – шестидесятилетний писатель, многое понявший и переживший за годы своей жизни. Но вряд ли молодой студент Цви-Гирш, сидевший в зале в тот самый момент, сформулировал бы свои чувства именно таким однозначным образом. Тогда он просто выслушал вполне ожидаемый приговор, вынесенный тройкой судей во главе с Абой Коганом: «В соответствии с четвертым параграфом Закона о школах для трудящихся закрыть без промедления все религиозные воспитательные учреждения, именуемые «хедер», и перевести детей в народную школу с обучением на языке идиш». Выслушал стоя, а затем, когда позволили сесть, вытерпел и длинную заключительную речь самого председателя евсекции и евкома.

Лишь потом молодежь местечка выпорхнула на улицу. Автор описывает это именно так:

Из клуба имени Розы Люксембург выходит публика. Медленно, один за другим, как безмолвные тени пророков, проходят старые бородатые евреи. Шумными стайками выпархивает молодежь; весело переговариваясь, парни и девушки растворяются в теплых сумерках.

«Весело переговариваясь»!.. – в отличие от бородатых стариков, молодые люди не больно-то осознают, что произошло. Для них три дня суда были не более чем спектаклем, поводом для встречи, развлечением, каких немного в Богом забытом местечке. И теперь парни под руку со сговорчивыми подружками торопятся занять парковые скамейки поукромней и думают в этот момент отнюдь не о судьбах народа.

Да и безмолвно расходящиеся старики вовсе не обязательно до конца понимают масштаб происходящей катастрофы. «Пережили фараона, Хмеля и гайдамаков – переживем и большевиков, – думают старики. – Когда-нибудь кончатся и гонения, потому что они всегда кончаются. Большевики уйдут, а местечко останется. А значит, вернется и хедер...»

Взгляните на них, выходящих из клуба имени Розы Люксембург. Что станет с ними со всеми? Абу Когана и его приспешников-бундовцев расстреляют в конце тридцатых как отработанный материал. Молодежь разъедется по крупным городам, поступит в университеты, станет первой волной советской интеллигенции – инженерами, врачами, музыкантами, директорами заводов; выстроит с нуля промышленность, торговлю, культуру и банковское дело, поднимет страну из разрухи, уйдет в ополчение с началом войны, станет

пушечным мясом под Москвой и на Синявинских болотах, а после победы будет объявлена «воевавшими в Ташкенте» безродными космополитами... Старики останутся в местечке ждать возвращения хедера, дождутся немцев и будут расстреляны все до единого, вместе с внуками и невестками, приехавшими сюда на летний отдых...

Уцелеют немногие. Но и они станут всего лишь дедушками и бабушками тех, кто окончательно покинет Советский Союз в начале 90-х годов того же проклятого века. Суд над ивритом и сопутствующее ему уничтожение еврейского местечка были первой символической вехой на этом пути, началом конца еврейского присутствия и еврейского участия в судьбах России. Оторвавшись от Традиции и оставшись, таким образом, без корней, российское еврейство в конечном итоге снялось с мест и покинуло страну – точно так же, как участники суда над хедером покидали в свое время клуб имени Розы Люксембург.

Княжна

Но это всё потом, а пока – пока студент Горной академии Цви-Гирш – а если по-новому, то Григорий Израилевич Прейгерзон возвращается в Москву после летних каникул.

В начале лета 1920 года я впервые переступил порог комнаты моего друга Абы. Площадь, где он жил, представляла собой подобие городского пупа, то есть была одним из самых шумных и густонаселенных мест, хотя, вообще-то, с начала того года по улицам гуляли лишь голод и запустение. В стране нашей вскипала тогда гражданская война, и все ходили будто на цыпочках – в домах и снаружи.

Я был тогда костлявым парнем в мятом костюме и старомодном галстуке – провинциалом, только-только прибывшим в большой город из местечка. Маршрут мой казался в то время типичным для многих еврейских душ. Из глухих местечек вела нас эта дорога к вершинам образования. Шаггал по ней и я, оказавшись для начала в этом красивом доме, боковым фасадом своим выходившим на здание оперы. Здесь проживал мой приятель Аба Берман, покинувший местечко на полгода раньше меня. Прежний жилец, дядя Абы – холостяк солидного возраста – весьма кстати женился и, оставив комнату племяннику, переехал в Нижний Новгород, известный теперь под новым названием Горький.

Убого одетый, обливающийся потом, стоял я на пороге этой комнаты с облезлым чемоданом в руке. Дорога была долгой и трудной, и все ее тяготы читались на моем лбу, как клеймо. Но Аба принял меня с открытой душой и ласковым сердцем. По обычаю тех дней, укореняясь в новых местах, мы всегда могли рассчитывать на помощь и поддержку земляков.

Вскоре я записался в университет; судьба не щадила нас, сразу навалив на плечи тяжесть изнурительного труда и голода. Что и говорить, в местечке мы знавали более сытные дни. Еда в городе стоила дорого. Но мы твердо помнили, что страдаем не зря. Опыт многих поколений говорил нам, что полнота знаний предпочтительней полноты желудка. Днем и ночью сидели мы с Абой над книгами и, не слушая протестующего бурчания пустых животов, топили в морях учебы

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

постоянную потребность в еде. На очень короткое время голод можно было слегка приглушить водянистой рыбной похлебкой, которую нам наливали в университетской столовой.

(здесь и далее – из рассказа «Княжна»)

Рассказ датирован 1968 годом, то есть, опять же, представляет собой поздний взгляд на вещи. Выше упомянута помощь и поддержка земляков, благодаря которым парни и девушки из местечек устраивались в большом городе. Этот же мотив встречается и в романе «Когда погаснет лампада» – правда, там герои ютятся в общежитии. Наличие предоставляемого институтом жилья часто определяло тогда выбор профессии. Бывало, молодые люди приезжали в столицу с твердым намерением стать врачами или журналистами, но *койко-место* удавалось раздобыть, скажем, лишь в институте пищевой промышленности. В этом случае первоначальная мечта отправлялась в отставку, и четыре года спустя несостоявшийся хирург уже налаживал технологию выпечки пряников.

Вполне возможно, что и сам Цви-Гирш Прейгерзон стал горняком точно таким образом – вынужденно, благодаря стечению обстоятельств. Но ничто не проходит даром: не исключено, что впоследствии именно эта профессия спасла его в Гулаге: специалисту по обогащению угля куда легче выжить на угольных рудниках, чем, например, археологу или учителю.

Герой рассказа «Княжна» и приютивший его земляк Аба Берман оказываются в несравненно лучших условиях. Комната на двоих в коммунальной квартире с одной соседкой – о такой роскоши подавляющее большинство студентов могли только мечтать. Но и они, и обитатели общежитий одинаково остро нуждались в компании «своих» – тех, к кому можно было обратиться за помощью в совсем уж отчаянной ситуации. Так в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве и других крупных университетских городах стали возникать неофициальные землячества выходцев из украинских и белорусских местечек.

Впрочем, Абе Берману земляки не очень-то и помогают: вконец оголодав, он отправляется в местечко на поправку. Затем соседка по коммуналке, театральная швея, уезжает на дачу ухаживать за больной внучкой, так что наш герой (вообще-то, его зовут Вениамин, но соседка предпочитает сокращать это имя до более привычного ей «Ваня») остается и вовсе один. Один – и не один: опустевшую квартиру населяют мечты и фантазии юноши. Дело в том, что к швее захаживают молодые красивые женщины; о них – а чаще всего, об одной из них – Вениамин-Ваня думает неотступно.

В ту осень 20-го года посетила меня первая любовь. Избраннице моего сердца было около тридцати. В глазах этой высокой женщины со светло-каштановыми волосами горел лихорадочный огонек несчастья. Звали ее Амалия Павловна, и происходила она из великокняжеского рода, представляя собой один из немногих уцелевших его обломков, безнадежно обреченных в охваченной революцией стране. Как загнанный заяц, металась Амалия Павловна по огромному городу, от одного знакомого к другому, ночевала, где придется, играла в смертельные прятки с ЧК. Время от времени она проводила ночь и у моей

Меж трех миров

добросердечной соседки-портнихи. Так я увидел ее, и душа моя пропала в ту же минуту.

Я влюбился в печаль ее глаз, в тонкий аромат ее духов, в звук глубокого мягкого голоса, в бесшумную элегантность движений. Она разом вошла в мой узкий мир и переполнила его. Днем и ночью разъедали меня тоска и огонь желаний, мучили томные, греховные мысли. Я начисто потерял покой.

Ценой огромных усилий мне удалось запереть эту головокружительную лихорадку внутри, так что, казалось, Амалия Павловна не подозревала о чувствах, которые обуревали меня. Но когда она изредка обращалась ко мне (тоже называя Ваней), я краснел от пяток до ушей, и сердце обжигала такая горячая волна, что потом долго еще приходилось отлеживаться, приходя в себя после острого приступа болезни, именуемой «любовь».

Но вот мечты становятся явью: княжна Амалия, не зная об отъезде своей приятельницы-швей, появляется на пороге квартиры. Она рассчитывала переночевать здесь, но вот ведь незадача: комната соседки заперта. Дорога назад на улицу тоже заказана из-за комендантского часа. И женщина остается на ночь в комнате нашего героя.

Конечно, она прекрасно понимает, что творится в душе юноши. Вениамин потрясен обрушившимся на него счастьем, и его чистое молодое чувство не оставляет княжну равнодушной. Ночь, которую она проводит в объятиях парня, для нее явно не только плата за укрытие. Женщина уходит поздним утром, договорившись о новой встрече вечером того же дня, и Вениамин, сгорая от нетерпения, ждет возвращения возлюбленной. Мир окрашен для него в новые прекрасные цвета; готовясь к свиданию, юноша приводит в порядок комнату, надевает ту единственную рубашку, которая может сойти за более-менее нарядную, и наскребает последние копейки на бутылку вина.

Амалия Павловна появляется намного позже, чем он ожидал. Оказывается, она ездила на дачу к соседке, чтобы взять ключ от комнаты. Там-то и выяснилось, что парня зовут вовсе не Ваня, как все это время полагала княжна, – у него еврейское имя Вениамин, да и сам он – страшно сказать! – еврей... Это кардинальным образом меняет ситуацию. Теперь она знать не хочет своего вчерашнего любовника. Ошеломленный враждебностью женщины, герой рассказа сначала просит, а затем требует объяснений. И княжна охотно дает их:

Я поднялся со своего места и тоже встал напротив зеркала. Мы стояли вроде бы рядом, но разговаривали сквозь зазеркалье.

– Ты еврей? – спросила она.

– Какая тебе разница?

– Не изворачивайся. Вера Федоровна сказала мне сегодня, что ты еврей.

Она вдруг повернула ко мне бледное, искаженное яростью лицо и даже не произнесла, а простонала из глубины души, полной горечи, гнева и беспомощности:

– Ох! Как же я вас ненавижу! Всех вас нужно было уничтожить!

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Бледные, как смерть, стояли мы друг против друга и слушали этот сатанинский стон, это дьявольское шипение, которые доносились, казалось, из глубины зеркала и исходили не от женщины, а от кого-то третьего, незримо присутствующего здесь.

– Ох! Проклятые евреи! – шипело зеркало. – Народ-мерзость, народ-пиявка! Весь мир вы обрушили, всех погубили!

... Затем она выкрикнула и несколько раз повторила некое крайне обидное слово – самое оскорбительное для меня. Тогда я запер дверь комнаты и положил ключ в карман. Все существо мое сотрясилось от ярости.

То, что происходит дальше, кажется чудовищным с точки зрения современной политкорректности: Вениамин, еврейский паренек из местечка, грубо насилует Амалию Павловну, представительницу русского великокняжеского рода. Насилует, зная, что женщина не может кричать и звать на помощь – ведь шум с большой вероятностью приведет к появлению патруля, а значит, к ее аресту и гибели. Выглядит шокирующе? Еще бы. Возможно, именно поэтому рассказ «Княжна» не вошел в первый опубликованный на русском языке сборник рассказов Прейгерзона («Бремя имени», перевод с иврита Лили Баазовой, изд-во Лимбус Пресс, СПб, 1999).

Но тем, кто шокирован, следовало бы вспомнить, что герой рассказа – тот же Вениамин, в чью дверь еще совсем недавно стучали сапогами, крича: «Жид! Открывай, жид!» И дрожащая от смертного ужаса мать прятала его в тайник, где, увы, мог поместиться только один человек, и юноша видел сквозь щель, как погромщики врываются в дом, как роются в вещах, как вешают над обеденным столом отца, и постоянным рефреном в этом непереносимом аду звучало, повторяясь, это вот слово – то же самое, которое только что прокричала ему княжна: жид, жид, жид...

Трудно не увидеть в этом рассказе весьма определенной символики, которая во многом отражает общественный и исторический дискурс, ведущийся по поводу роли российских евреев в революции и последующем становлении советской власти. Важно, что Прейгерзон написал его не в 1920-е годы, когда его текстами правил неистовый экспрессионизм, характерный как для тогдашнего возраста автора, так и для литературы того времени в целом. Нет, «Княжна» датирована самым поздним периодом творчества писателя, когда он особенно тщательно взвешивал каждое слово и стремился к максимальной точности в описании событий и судеб.

Старые местечки черты оседлости, погрязшие в нищете и бесправии, в непролазной грязи весенних и осенних распутиц, в летней пыли и зимнем запустении, в течение двух веков, завернувшись в Традицию, как в кокон, выживали на обочине православного мира – мира хмельниччины и гайдамаков, мира погромов и царского набора в кантонисты. Их разбудила российская Хаскала, то есть Ицхок-Бер Левинзон и его последователи, а также грохот нового времени, шум диковинных паровых машин, стук вагонных колес на проложенных рядом с покосившимися хатами стальных путях.

Сияющие рельсы вели к новым горизонтам, и дети местечек самым естественным образом всматривались в эти невиданные дали. Обязательным

пропуском туда было образование – не в хедере, не в ешиве, а в светской гимназии и в университете. Вот только дорога туда была закрыта для подавляющего большинства евреев. Можно уподобить эту странную ситуацию городу, в котором построили железнодорожную станцию, но запретили покупать билеты на поезда. Приведет ли это к уменьшению числа мечтающих о поездке? Конечно, нет: запретный плод всегда кажется лишь еще привлекательней. В кассе не дают билетов? Тогда переоденемся в законных пассажиров, поедем зайцами, взлезем на крыши вагонов, прицепимся к буферам...

Справедливо ли утверждение, что к падению Российской империи привели не столько поражения в Японской и Первой мировой войнах, отвратительный Распутин и удачливый авантюризм большевиков, сколько частное вроде бы решение властей о введении процентной нормы на прием евреев в учебные заведения? Возможно, так оно и есть. Выше уже говорилось, что из швейцарских, немецких, французских и итальянских университетов молодые люди возвращались законченными социалистами. Таким образом правительство царя самолично подготовило и импортировало в Россию свою будущую гибель.

В отсутствие ограничений на образование, этого, скорее всего, не случилось бы. Сотня-другая дополнительных гимназий, свободный прием в университеты – и благодарности детей местечек батюшке-царю не было бы предела (как не было предела благодарности царю Александру II за отмену системы кантонистов). Россия получила бы тысячи инициативных талантливых и абсолютно лояльных инженеров, адвокатов, врачей, ученых, в которых остро нуждалась на рубеже промышленной эпохи. Отчего же власти не распахнули ворота настежь? Ответ банален: антисемитизм. Вот только эта штука представляет собой обоюдоострый меч без рукояти, который приходится держать за лезвие. Избивая евреев, антисемит сам рано или поздно истекает кровью.

Ужасы Первой мировой и зоологический антисемитизм высшего российского командования лишь усугубили разрыв между евреями черты оседлости и царским правительством. Неудивительно, что известие о Февральской революции и отречении Николая II было встречено в местечках с радостью. В тот момент еще можно было приостановить падение державы в Гражданскую войну, большевизм и разруху: для этого требовалось, в числе прочего, обуздать погромный низовой антисемитизм. Нельзя сказать, что Керенский, а позже Деникин, Колчак или Петлюра поощряли погромы – они всего лишь были недостаточно решительны в пресечении погромщиков, что, как обычно, было воспринято массами как разрешение громить. Зато большевики действовали в этом плане железной рукой – начиная со специального декрета, подписанного Лениным в июне 1918 года и кончая безжалостными расстрелами погромщиков на местах.

Герой рассказа «Мой первый круг» (его тоже зовут Вениамин) спасается от жесточайшего погрома, учиненного отступающими из местечка деникинскими солдатами. Он бежит даже не куда глаза глядят, а куда ноги несут, и чисто случайно попадает в отряд Красной армии. Здесь снова видна характерная для Прейгерзона подспудная символика: евреи изначально вовсе не стремились ни к красным, ни к большевизму – во всяком случае не в массовом порядке. Вспомните состав местечкового евкома в сцене суда над хедером: там заседают сплошные бывшие бундовцы (то есть естественные союзники меньшевиков и умеренных

социал-демократов) и ни одного «натурального» большевика-ленинца. Но в невозможных условиях погромного избиения со стороны всех прочих действующих сил единственный путь к спасению лежал тогда через Красную армию и ВКП(б). У российских евреев, как и у одержимого амоком бегства Вениамина, попросту не было иного выбора. Их – как и Вениамина – буквально загнали к Ленину.

Поразительно, что затем именно евреев обвинили в разрушении России. Причем самые яростные обвинения последовали со стороны тех, кто сначала ввел черту оседлости и процентную норму, а затем смотрел сквозь пальцы на погромы 1880-х и 1900-х годов; тех, кто вынудил евреев получать образование за границей и тем самым импортировал в страну революцию; тех, кто вешал евреев в прифронтовой полосе Первой мировой и не пресекал граничившие с геноцидом антисемитские эксцессы Гражданской войны.

«Весь мир вы обрушили, всех погубили!» – кричит Вениамину (и в его лице – всему еврейству) княжна Амалия Павловна, а с нею – и вся прежняя, погибающая, загнанная большевиками в угол Россия потомственных дворян, золотопогонного офицерства, ленивого чиновничества, уютной профессуры и умеренно фрондирующей интеллигенции. Неужели, Амалия Павловна? Что же, по-вашему, должен был сделать еврейский юноша Вениамин? Отказаться от протянутой большевиками руки? Молча погибнуть в истекающем кровью местечке?

Видимо, так. Вот только Вениамина – его, и сотни тысяч подобных ему девушек и парней не устраивает такой поворот событий. По-прежнему одержимые жаждой знаний, они устремляются в распахнувшиеся наконец ворота университетов. Большевикам это очень кстати, ведь огромная масса дореволюционных администраторов, инженеров, специалистов, ученых либо уничтожена, либо сбежала за рубеж. Остались лишь немногие «старорежимные», да и к тем доверия немного. Кто заменит, кто возместит этот крайне необходимый обществу ресурс в стране почти повсеместной неграмотности?

Пролетариат и трудовое крестьянство отнюдь не горят желанием усесться за парту. Первым вполне хватает правильного классового самосознания, вторым достаточно хорошего надела земли и семян для посева; университет пока занимает далеко не главное место в списке их приоритетов. В этой ситуации нет реальной замены молодежи еврейских местечек – уже поголовно грамотной и жаждущей продолжать учиться. Им-то и предстоит *овладеть* Россией – хотя бы уже потому, что в ближайшее десятилетие-полтора у этой пребывающей в полубморочном состоянии, бессильно раскинувшейся на полконтинента крестьянки просто нет иного выбора. Она вынуждена будет родить новую жизнь от извечно ненавистного и презираемого еврея – ведь, кроме него, ей попросту не от кого рожать.

Изнасилование? С точки зрения «старорежимных» – конечно, да. Их бывшие наследственные, законные, освященные российской историей и российской традицией позиции захвачены силой. Причем, захвачены чужаками, отверженными – теми, кого испокон веков винули и продолжают винить во всех мировых бедах: «народом-мерзостью, народом-пиявкой».

Месть? С точки зрения Вениамина и других молодых евреев – конечно, нет. Без сомнения, теперь они уже не намерены прятаться в тайнике, глядя, как

деникинец затягивает петлю на шее их беспомощного отца. Но оцените их благородство! После пережитых ужасов они могли бы быть преисполнены ненависти. Кто бы на их месте не гнал и не преследовал бы своих бывших гонителей? Но этого не происходит: напротив, их сердца открыты для любви и согласия.

Великокняжеское происхождение Амалии Павловны означает, что она приходится родней главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу – тому самому, на чьей совести сотни тысяч загубленных евреев Галиции, Волыни и Полесья. Тем не менее, Вениамину и в голову не приходит выдать беглянку чекистскому патрулю. Он любит ее, любит искренне и чисто, любит, пока в лицо ему смачным погромным плевком не летит омерзительное слово «жид». И тут уже юноша отплачивает за всё сразу – за унижения, за страх, за насилие и гибель любимых людей – отплачивает ответным унижением, ответным насилием демонстрируя, кто теперь здесь хозяин.

Хозяин? Мы-то знаем, что всего полтора десятилетия спустя, когда страна, возродив промышленность, управление хозяйством, армию, науку и академию, встанет наконец на налаженные рельсы, и временная надобность в евреях отпадет, это немедленно скажется на их положении. Надежды 20-х годов утонут в нарастающей волне антисемитизма. Тогда-то, в 1934 году, Прейгерзон и напишет исполненные горечи строки: «Моих братьев ведут к эшафоту, / и я – среди них...» Напишет, еще не зная, что худшее ждет впереди.

Первая публикация

Рожденный писать пишет всегда – даже когда не пишет. Слова живут и копошатся у него в голове, складываясь в конструкции, обретая ритм и форму. Естественным побуждением становится желание сохранить, закрепить этот танец, перенести его на бумагу. Незнакомые с этим явлением и потому недоумевающие по его поводу люди именуют это графоманией, но это всего лишь призвание. С таким же основанием можно назвать маньяком краснодеревщика, видящего в древесном рисунке обычного бруска витые контуры будущей ножки, или фотографа, автоматически высматривающего границы фрейма при взгляде на любой вид или пейзаж.

Призвание – от слова «зов». Что или кто зовет человека заняться тем или иным делом? «А вела меня в бой судьба, / как солдата ведет труба», – пел поэт и диссидент Александр Галич. Так ли? Как раз более чем удачно складывавшаяся судьба вела Александра Аркадьевича совсем в другую сторону. Он мог бы продолжать изготовление по-советски конвенциональных и при этом небесталанных пьес и сценариев, как это делали многие другие. Человека зовет место, которое он предназначен занять в этом мире. Именно место – а вот судьба и жизненные обстоятельства вполне могут сбить его с панталыку, закинув совершенно не в ту степь.

Судьба Григория Израилевича Прейгерзона – блестящего студента и лабораторного работника Горной академии – властно толкала его в науку. В середине тридцатых годов он был уже в ранге доцента (получив кандидатскую степень без защиты, по совокупности научных работ), руководил лабораторией,

читал лекции, готовил учебные пособия и считался крупным специалистом по обогащению угля. В 1925 году Прейгерзон сделал предложение Лие Борисовне Зейгерман, которую знал еще по Кролевцу. Три года спустя у них родилась дочь Аталиа, за ней вторая – Нина, а затем и сын Вениамин. Так, хорошо, спокойно – насколько это было возможно в те непростые в бытовом отношении годы складывалась судьба успешного советского ученого. А вот что касается призвания...

Григорий Израилевич писал, начиная с детства, когда звался еще Цви-Гиршем. Писал на иврите – стихи, рассказы. Его первым читателем был отец – он-то и послал заветную тетрадку самому Хаиму-Нахману Бялику. Согласно семейному преданию, Бялик тетрадку одобрил. Так или иначе, но Цви продолжал писать и в гимназии «Герцлия», и, уж конечно, в период проживания в Одессе – одной из тогдашних литературных столиц.

В то время это выглядело еще юношеским увлечением, которое могло – вернее, должно было рассеяться по мере того, как возобладают другие, более земные, более конкретные обстоятельства: семья, работа, общественные связи... Большевицкая Россия изначально строилась тоталитарной, что означает тотальный, всепроникающий надзор государства во всех областях человеческого бытия – в том числе и самых, казалось бы, личных. Сами слова «индивидуальный», «индивидуализм» превратились в ругательные; вся жизнь протекала на виду у коллектива, в *общезитии* – не только в жилищном, но и в глобальном смысле этого слова. Общежитие – общее, в противоположность индивидуальному – житие.

Сейчас трудно представить, как обремененный семьей советский специалист, преподаватель советского вуза мог в подобных обстоятельствах продолжать интересоваться ивритом – официально запрещенным и клейменным языком раввинов-мракобесов и сионистской буржуазии. Просто интересоваться – не говоря уже о писательстве. Здесь самое место припомнить и уже отмеченные выше особенности характера Прейгерзона: повышенное чувство ответственности, осторожность, основательность в принятии решения и выборе шагов. Меньше всего этот человек был склонен к безоглядному авантюризму.

Таким образом, всё – буквально всё диктовало ему настоятельную жизненную необходимость начисто забыть иврит, выкинуть его из головы от первой до последней буквы, *ми алеф ад тав*¹. Каким же мощным, каким непреодолимым должен быть вышеупомянутый зов, чтобы раз за разом, ночь за ночью усаживать человека за стол и заставлять его выводить на листе бумаги запретные буквы в запретном – справа налево – направлении!

Во второй половине 20-х годов Цви Прейгерзон начал посылать свои рассказы в ивритские журналы и газеты. Посылать за рубеж – в России к тому времени уже не звучало и тем более не издавалось ни одного слова на иврите. Выбор тем не менее был, и довольно разнообразный.

В Лондоне издавался еженедельник «Га-Олам» – центральный орган Всемирной сионистской организации, основанный в 1907 году Нахумом Соколовым и несколько раз сменивший прописку (до Лондона журнал

¹ Ми алеф ад тав (ивр.) – поговорка: от буквы Алеф (первая буква ивритского алфавита) до буквы Тав (последняя буква).

базировался в Кельне, Вильнюсе, Одессе и Берлине, пока окончательно не обосновался в 1936 году в Иерусалиме, где и просуществовал до 1950 года).

Литературный альманах «Га-Ткуфа», впервые появившийся на свет в 1918 году в Москве под патронажем известного мецената Авраама Штибеля (удачливый фабрикант, разбогатевший на поставках кожи для Российской армии и давший обет пожертвовать свой первый заработанный миллион на развитие книгопечатания на иврите), к тому времени уже вынужден был перебраться в Варшаву, а затем и в Берлин.

В Нью-Йорке с 1921 года под эгидой Еврейского Гистадрута Америки выходила еженедельная газета «Га-Доар», просуществовавшая вплоть до 2005 года и редактируемая с 1923 по 1953 годы известным литератором и пропагандистом иврита Менахемом Рыболовом.

В Тель-Авиве с 1926 по 1933-й издавался (под редакцией Элизера Штейнмана и Авраама Шленского) авторитетный еженедельник «Ктувим», созданный по инициативе Х. Н. Бялика как представительский орган Союза ивритских писателей.

В дальнейшем писатели Союза поссорились с редакцией «Ктувим», и с 1929 года право на официальное представительство перешло к другому еженедельнику – «Маазаним», который выходит в свет по сей день.

Поэт и публицист Ицхак Ламдан издавал в Тель-Авиве литературный ежемесячник «Гильонот» (1934-1954). Писатели Яаков Рабинович и Ашер Бараш выпускали там же нерегулярные, но неизменно популярные выпуски альманаха «Хэдим» (1922-1930).

Ежедневные газеты Эрец Исраэль – «Давар» (1925-1996), «Гаарец» (с 1918), «Едиот Ахронот» (с 1939), «Маарив» (с 1948) и др. публиковали пространные литературные приложения.

Кроме того, время от времени в Эрец Исраэль, а после обретения независимости – в Израиле, издавались тематические сборники и альманахи – такие, как «Гахалим лохашот» (Тель-Авив, 1954, под редакцией Йегошуа Гильбоа).

Свой первый рассказ Цви Прейгерзон опубликовал в январе 1927 года в еженедельнике «Га-Олам» (редакция изменила авторское название «Параноя» на более нейтральное «В годы ужаса»). Это довольно большой и сложный текст – можно даже назвать его повестью – где в трогательную и страшную историю любви двух молодых людей вплетаются не слишком характерные для более зрелого Прейгерзона элементы мистики и, напротив, очень характерная для него интонация слегка отстраненного, слегка ироничного, но неизменно сочувственного наблюдателя-летописца.

Очень показательно и введение, открывающее повесть. Оно не имеет прямого отношения к описываемым там событиям, а играет роль своеобразного пролога, где представлена именно та дихотомия призвания и судьбы, о которой говорилось чуть раньше. Рассказчик сидит в комнате студенческого общежития; за перегородкой шумно празднуют коллеги-комсомольцы, во всю мощь молодых глоток распевая шутивную разудалую песню. А он, который должен был бы подпевать, притопывать и прихлопывать в лад – не с ними. В его голове роятся совсем другие образы.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Из далеких земель, поверх гор высоких и лет ушедших, летит ко мне светлое воспоминание о моей еврейской бабушке. Она приходит ко мне в образе скорбной заплаканной женщины, чья печаль кажется неутолимой. Синий вечер смотрит в мое окно, а из-за его спины выглядывает ночь во всеоружии сияющего месяца и множества звезд. Призраки прошлого толпятся в моей голове, и вытеснить их оттуда не может даже оглушительный шум, доносящийся из соседней комнаты, где по какому-то случаю празднуют комсомольцы, молодая поросль нашей железной партии.

...Так они поют, эти молодые шутники – поют, и бьют в ладоши, и притопывают в такт, и грохот этой песни способен обрушить крышу и распугать любых призраков.

Любых – только не чистый образ моей бабушки. Она по-прежнему стоит рядом; светлой мудростью и неизбывным милосердием веет от ее благословения.

– Единственный мой... – шепчут ее бескровные губы.

Дети моей бабушки разлетелись на все четыре стороны света, и теперь она навещает их по очереди, как призрак нелепой деревенской гостьи среди модного городского застолья. Чистые крылья ее выломаны из плеч еще во времена погромов – с тех самых пор просит она у судьбы лишь скорой и безболезненной смерти. Она стоит у моего изголовья, старая еврейская женщина, и горький плач – плач моего полузабытого детства сотрясает ее плечи, вынесшие на себе столько всего...

– Единственный мой! – молит меня бабушка. – Ну, пожалуйста...

Наверно, и впрямь пришло время поведать миру об этих простых людях, чтобы не исчезли они вовсе из памяти человеческой. Так, понуждаемый горящим в темноте взглядом моей упрямой бабушки, сажусь я, покорный раб, к столу и беру в руку перо. Беру неохотно, потому что в длинной череде призраков, о чьих несчастных судьбах мне следовало бы рассказать читателю, эти двое, пожалуй, несчастнее всех. Но кто я такой, чтобы отказываться? Кто я такой, чтобы брать на себя смелость своим разумением прокладывать себе дорогу, – я, воспитанник моей еврейской бабушки? Могу ли я отвернуться от этого синекрылого вечера – свидетеля печального прошлого, вестника смущенного будущего?

(здесь и далее из рассказа «Паранойя»)

«Понуждаемый»... «покорный раб»... «неохотно»... – в этом все дело. Советский студент, аспирант, доцент Григорий Израилевич Прейгерзон, бежавший без оглядки из своего Богом забытого провинциального местечка, сознательно вступивший на путь Ассимиляции, отодвигается на время в сторону, вытесняемый юношей Цви-Гиршем. Он, может, и рад бы перейти к коллегам за перегородку, да вот никак не получается – не дают призраки прошлого, не позволяет требовательный взгляд еврейской бабушки.

Бабушки? Почти все тексты Прейгерзона написаны от первого лица, либо с осязаемым присутствием автора; почти везде встречаются элементы автобиографии и практически нигде не упоминается бабушка. Есть отец, есть мама – бабушки нет. Зачем же писателю понадобился здесь именно такой

имперсональный, символический образ? Затем, что речь здесь идет не о конкретной пожилой женщине, матери мамы или отца, но о самой Традиции. *Этой* бабушке из волынского местечка – несколько сотен лет.

Оттого-то ее взгляд так обязывает Цви-Гирша, взывая к его человеческой, к его еврейской ответственности. И вот ведь парадокс: то же самое качество, которое должно было заставить его отказаться от опасного иврита в пользу семьи, работы и ассимиляции, теперь силой усаживает писателя к столу и заставляет взять в руку перо. Потому что – кто он такой, чтобы отказываться? Может ли он отвернуться от этих призраков, от этой Традиции?

Нет, не может, никак не может.

И вместе с тем в повести еще ощутимо свойственное творчеству раннего периода чувство отторжения покинутого мира. Автор связывает Традицию с паранойей – со страхом, насквозь впитавшимся в ветхую, пыльную, душную иудейскую материю старых местечек.

Паранойя. Как любимая невеста, завладевает она сердцем, как самая желанная девушка, которой посвящает человек всю свою жизнь. Во многих важных книгах и святых фолиантах отплясывают тени ее призрачных иллюзий. В днях древнего детства, в печальных пейзажах равнина, в огне дедовских напевов на рассвете, в пыли пустых молитвенных домов – повсюду разбросан яд Паранойи. Тебе кажется, будто получил ты счастливый подарок; мышцы наливаются силой, и чьи-то любимые глаза освещают каждый твой шаг... Берегись! Это пришла и поразила тебя Паранойя, зеленая королева, богиня умалишенных, поймала тебя на крючок обещанием своего маленького счастья. И вот ты уже очарован, околдован, одурочен, и, как стая хищных зверей, набрасываются на тебя дряхлые дни и пыльные буквы...

Для Прейгерзона конца 20-х годов традиционный иудаизм является видом заразной болезни, опасного помешательства. Неслучайно «зеленая королева» Паранойя овладевает героем повести Екутиэлем Левицким во время болезни, на грани гибели от тяжелейшего тифа. Выздоровев, Екутиэль, уверенный, что узрел Господа, начинает ходить в синагогу:

Как замороженный, слушает Екутиэль странные истории и странные басни, которые, наподобие речной осоки, произрастают вдоль стен-берегов древнего штибля¹. Смутные образы теснятся в его голове: мудрецы прежних времен и праведники недавнего прошлого, люди в меховых шапках-штреймелах и длинных шелковых одеяниях, славные цадики из славных городов и местечек – от Зенькова и Вильны до Коцка и Черновиц, Тальне и Брацлава. А рядом – горы записочек и амулетиков – цветы надежд и мечтаний, которые росли и расцветали в убогости покосившихся домиков, на пыльных улочках, в боли и нищете забитых поколений. Вино каббалы – крепкое и выдержанное, пьянило тогда отчаявшиеся сердца...

¹ Штибль, штибель (идиш) – маленькое помещение для молитв и учения. В первые годы хасидизма, когда хасиды изгонялись из синагог, они вынуждены были собираться для молитвы в таких маленьких домиках и комнатах. Со временем значение слова «штибль» слилось со значением слова «синагога».

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

– Евреи, спичку! – говорит рабби Лемех Кац.

Минута – и воскресает в штибле неверный огонек свечи, вновь дрожит, колеблется свет на странных морщинистых лицах – то кивают они, то вздыхают, то растягиваются в судорожном зевке.

Завершается эта история превращением героя в бродячего «черного проповедника», бесцельно бредущего по дорогам Волыни в поисках Бога.

Там-то я и встретил черного праведника Екутиэля Левицкого – встретил, и примкнул к нему на несколько дней. Вместе брели мы по горячим дорогам, и распухшее от жары солнце равнодушно связывало в один шов отпечатки наших шагов. Вместе присаживались мы отдохнуть, когда крона случайного придорожного дерева предлагала нам свою тень. Шли мы очень неторопливо и время от времени переговаривались о том, о сем.

– Куда мы идем, Екутиэль? – спрашивал я, хотя должен был прекрасно знать, что дорога ведет из Староконстантинова в Красилон и никуда больше.

– К Богу! – совершенно не к месту отвечал он, и глаза его загорались неизъяснимым пылом.

На одном из привалов их находит жена Екутиэля – маленькая Рут, олицетворение жизнестойкости и жизнелюбия. «Черный проповедник» гонит свою некогда пылко любимую подругу прочь – она кажется ему сатаной во плоти. И Рут, которая не в силах больше жить без любимого, принимает решение тоже отдаться Паранойе – ведь только там, в зеленом царстве умалишенных возможно их воссоединение.

И тут я, Биньямин Четвертый, легкомысленный и нелепый юнец, услышал самую странную молитву из всех, какие только приходилось мне слышать когда-либо до и после этого.

– Паранойя! – проговорила женщина. – Вот спешит к нам новый день, уходят шорохи ночи, свежий ветер гуляет в полях, треплет траву и сметает за горизонт мертвые звезды.

Слезы ручьем полились из ее глаз, беспрепятственно скатываясь по щекам и пропадая в сухости сена.

– Паранойя, пожалуйста... – всхлипывая, молила Рут. – Я так хочу быть со своим мужем. Нет в моей жизни ничего и никого, кроме него. Пожалуйста, возьми к себе и меня тоже! Я очень прошу... возьми и меня тоже! Клянусь, я буду верна тебе, как раба. Только сделай так, чтобы мы снова были вместе – я и Екутиэль...

И тогда я увидел ее, Паранойю, зеленую королеву, богиню умалишенных. Она возникла из ниоткуда и по-хозяйски уселась на нашей копне сена. На ней красовалась корона из петушиных криков, щеки горели румянцем утреннего ветра, а платье было украшено нитью алеющего горизонта.

– Кажется мне, что я видела сейчас самого Господа, – пробормотала маленькая Рут и смолкла.

Меж трех миров

Я вскочил и выбежал со двора, и бежал, и бежал, и бежал, пока не осознал достаточно твердо, что нахожусь на дороге, ведущей в Красилов из Староконстантинова. Там, в Красилове, родился мой отец, и отец моего отца, и отец отца моего отца. Туда пришли мои предки более века тому назад – пришли из святой общины города Праги – известного еврейского места.

Здесь снова появляется уже хорошо знакомый нам мотив бегства – отчаянного, не разбирающего дороги: «выбежал... и бежал, и бежал, и бежал...» В 1929 году повесть была перепечатана альманахом «Га-Ткуфа» – теперь уже под ее оригинальным названием.

Биньямин Четвертый

Много позже, уже после Второй мировой войны Прейгерзон включил ряд новых рассказов и повестей в цикл, который еще раньше назвал «Путешествия Биньямина Четвертого», намекая тем самым на преемственность по отношению к классику новой еврейской литературы Менделе Мохер-Сфарим (1835-1917). Один из сатирических романов последнего, «Путешествия Биньямина Третьего» (Вильна, 1877), был написан на идише, хотя, вообще говоря, Менделе писал и на иврите. Роман пародировал путевые записки знаменитых еврейских путешественников и был проникнут специфическим еврейским юмором, смехом сквозь слезы. На характер романа намекает название его польского перевода, опубликованного восемь лет спустя: «Еврейский Дон-Кихот».

Предыдущим, непосредственно вдохновившим Менделе Биньямином, считается Биньямин Второй – так он называл себя сам – уроженец Бессарабии Израэль-Йосеф Биньямин (1818-1864), отправившийся в 1845 году на поиски десяти исчезнувших колен Израиля. Он пропутешествовал от Марокко на западе до Китая на востоке, тщательно документируя на иврите свои путевые впечатления. Впрочем, впервые его книга «Пятилетнее путешествие по Востоку. 1846-1851» была опубликована в переводе на французский; ивритский оригинал увидел свет позже.

Ну, а самым первым и самым знаменитым начинателем цепочки Биньяминов-путешественников был, конечно, испанский еврей Биньямин из Туделы, чья «Книга путешествий» (1159– 1172), переведенная на многие языки, стала важным источником знаний об истории, культуре и экономике тогдашнего Средиземноморья.

Что и говорить, область странствий Биньямина Четвертого не простиралась столь далеко. Его целью было добраться не из Марокко в Китай, а всего лишь из Староконстантинова в Красилов или из Гадяча в Зеньково, а уж путешествие из Кролевца в Бердичев и вовсе выглядело почти кругосветным. Но описываемый им мир был не менее объемён и реален, и уж конечно, не менее трагичен ввиду своего на глазах исчезающего бытия, сжимающегося с каждым ушедшим днем, подобно легендарной шагреновой коже.

Предметом романа Менделе Мохер-Сфарим тоже были еврейские местечки, а также редкие радости и повседневные тяготы их колоритных обитателей. Но мог

ли предполагать Менделе в начале последней четверти XIX века, в относительно спокойное время царствования Александра Второго, что спустя всего несколько десятилетий этот закосневший, бородатый, почерневший от времени, но такой живой и устойчивый мир неудержимо пойдет ко дну, как новая Атлантида?

У еврейской черты оседлости было много талантливых летописцев с острым взглядом, точным пером и литературным талантом. Достаточно упомянуть того же Менделе Мохер-Сфарим, Шолом Алейхема, Й. Л. Переца, С. Фруга, Шолома Аша, П. Гиршбейна и многих других. Но эта летопись, увы, оборвалась с установлением советской власти. Казалось бы, запрету подвергся лишь иврит – продолжайте писать на идише, как это делал тот же Д. Бергельсон, пока его не расстреляли вместе с другими еврейскими писателями в 1952 году. Но так только казалось: от пролетарского писателя – что на русском, что на идише, что на санскрите – требовали прежде всего классового интернационального подхода и демонстрации великих достижений советского народа. Низменный быт реакционного хасидского мирка никоим образом не укладывался в эту бодрую картину. Еврейское местечко, таким образом, одним махом лишилось всех своих писателей. Оно не просто умирало – оно умирало без свидетелей, в одиночку.

Так и случилось бы, если бы не Цви Прейгерзон и его Биньямин Четвертый. Им выпало стоять у изголовья умирающего мира, держать его за руку, произносить слова любви и утешения. Именно Прейгерзон закрыл своими рассказами и своим романом зияющую черную дыру размером в четверть века, именно он стал практически единственным летописцем последних лет еврейской Атлантиды. И в этом, несомненно, заключается серьезное историческое значение его творчества.

Знал ли это о себе Цви-Гирш? Думал ли об этом, глядя в зеркало на доцента Горной академии Григория Израилевича Прейгерзона? Видимо, знал. Знал, и был преисполнен сознанием высокой ответственности своей миссии. Иначе не встречались бы так часто на страницах его текстов напоминания о необходимости рассказать, о невозможности уйти, промолчав, – потому что если не он, то кто же? Кто, если не он? И кому он напоминал об этом с такой настойчивостью? Самому себе, не иначе.

Раннюю прозу Прейгерзона часто сравнивают с «Конармией» Исаака Бабеля. Сходство действительно есть – в экспрессионистской яркости образов, во взгляде на горе и зверства войны – несколько отстраненном, подчеркнуто описательном, чтобы самому не сойти с ума от происходящего вокруг. Но различий, наверно, больше.

Начать с того, что Бабель, принципиально городской человек, воспитанный Одессой, Николаевом и Петроградом, почти не пишет о природе, а там, где все же уделяет ей внимание, словно выстраивает театральную декорацию: «девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря». У Прейгерзона же природа становится непосредственной участницей и свидетельницей событий. Волынский или полесский городок живет в тесном симбиозе с окрестными деревнями и хуторами; вокруг колосятся пшеничные поля, пылят проселочные шляхи и мальчишки бегают купаться на речку через заливной луг, где звенят бубенцами коровы – свои, из хлева, приткнувшегося вплотную к крытой соломой хате. Небо над местечками то холодеет морозным равнодушием зимы, то плачет

Меж трех миров

горькими слезами осени; ветер носится по рыночным площадям, бесцеремонно залезая под юбки и лапсердаки; деревья тревожно шелестят листьями и шепчут знакомые с детства молитвы.

Далее, Бабель – из породы других, южных евреев. Вот как сам он формулирует эту существенную разницу:

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещей павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откуп кабачки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.

(И. Бабель, «Конармия»)

Наверно, поэтому при всей вышеупомянутой отстраненности в рассказах Прейгерзона ощущается такая пронзительная боль, а в «Конармии» Бабеля – такая почти неприязненная холодность. С точки зрения первого, погромщики режут по живому, убивают его родных, друзей и соседей, насилуют девочек, с которыми он целовался на укромных скамейках летними вечерами. Для второго же речь идет о странных чужаках, «оскорбительных для вкуса» просвещенного ассимилянта.

И, наконец, самое важное отличие между двумя авторами: они адресуются к разным аудиториям. Дитя космополитического портового города, Бабель был способным полиглотом и не делал особого различия между языками, которыми владел в степени, вполне достаточной для создания высококачественных литературных текстов. Первые свои рассказы он писал по-французски, но с таким же успехом мог делать это (и действительно делал) на идише, иврите, украинском или русском.

Кому-то может показаться, что тексты, написанные тем же автором на ту же тему, с использованием того же сюжета и той же композиционной структуры, не должны сильно отличаться друг от друга. Да, слова разных языков выглядят и звучат по-разному, но, в конечном счете, они обозначают одни и те же понятия. Но это не совсем так. Любой человек, мало-мальски попробовавший свои силы в литературе, знает таинственное свойство текста вести автора за собой, указывать ему не только развитие диалога, но и продолжение сюжета, так что зачастую результат оказывается далек от запланированного.

Конечно, степень следования диктату текста может различаться от автора к автору. Есть любители жесткого плана, не позволяющие себе ни на йоту

отклониться от первоначального намерения. И есть, напротив, ряд успешных писателей, которые садятся за стол, не планируя вовсе ничего и полностью доверяясь самостоятельному движению слов.

На самом деле в этом нет ничего таинственного. Известно, что слова живут в тесном взаимодействии с местной языковой культурой в широком смысле этого слова; они созвучны самым разным понятиям и тянут за собой целый шлейф ассоциаций – исторических, бытовых, религиозных, литературных, личных... Этот ассоциативный шлейф, этот культурный фон и осуществляет вышеупомянутую диктовку. Нечего и говорить, что в разных языках она может завести автора в совершенно разные степи.

Но и это еще не всё. Как правило, писатель желает быть понятым; даже самые надменные авторы, декларирующие полную независимость от массового читателя, рассчитывают на понимание хотя бы одного высокоинтеллектуального критика, который способен объяснить городу и миру, в чем именно заключались их гениальные задумки. Следовательно, приходится волей-неволей ориентироваться на принятые – опять-таки, в данной конкретной языковой культуре – коды поведения, а также особенности местного мировосприятия и местной этической системы. То, что в одной культуре выглядит удалой шалостью, в другой могут назвать вульгарной выходкой. Одно и то же имя – ну, скажем, Хаим – в одном языке связано с корпусом антисемитских анекдотов, а в другом – ассоциируется с ценностью жизни. И так далее – примеров можно привести сколько угодно.

Таким образом, выбирая язык творчества, писатель во многом заранее определяет не только внешний вид, но и содержание будущего текста. Вряд ли проанализированный ранее рассказ «Княжна» или повесть «...и сотворил меня гоем» выглядели бы так же, если бы были изначально написаны по-русски.

Бабель выбрал язык, предназначенный для русскоязычного читателя. В отрыве от канонов правильной русской речи не понять очарования языковых искажений и прямых калек с идиша, которыми пестрят «Одесские рассказы». «Кладите себе в уши мои слова»... «Беня говорит мало, но он говорит смачно»... – всё это веселит только по-русски. На идише – то есть на том языке, который *на самом деле* использовали в беседе между собой Фроим Грач и Беня Крик, те же самые выражения звучат правильно и, следовательно, скучно. Для читателей Менделе Мохер-Сфарим и Ицхока-Лейбуша Переца тот же автор писал бы совершенно иначе, с иными акцентами и, возможно даже, с иным развитием действия.

А для кого писал Цви Прейгерзон?

Тут надо вспомнить, что заставило его взяться за перо: чувство ответственности, необходимость записать и передать дальше то, что никто уже не расскажет. Передать кому? Уж конечно, не тем, кого судьба покинутых еврейских местечек интересует не больше, чем прошлогодний снег. Не тем, кто в стремлении стать «обычным советским гражданином», то есть субъектом новой социалистической нации, видит в истории своего бывшего народа незначительный эпизод, совершенно справедливо не упоминаемый в учебниках истмата. Поэтому Прейгерзон пишет на иврите – для тех, кому это всегда будет

важно: для своих однокашников из гимназии «Герцлия», для их детей, внуков и правнуков.

Совмещающая несовместимое

Назвав свой сборник по аналогии с романом Менделе, Прейгерзон не мог не отдать дань своему предшественнику, его интонации, с которой Мохер-Сфарим описывает уникальных в своей типичности обитателей местечек черты оседлости. Ведь эта интонация принадлежит не только автору «Путешествий Биньямина Третьего» – она действительно свойственна еврейскому миру испокон веков. Ингредиенты этого особенного взгляда на мир, полного светлой горечи и специфического философского юмора, вовсе не случайны.

Горечь здесь – от реального горя, от неизбежной трудности бытия чужого среди чужих. Свет – от столь же неизбежной веры в высшую справедливость Создателя, в логику Творения, временами кажущуюся странной и непостижимой, но всегда обладающую заведомо высшим смыслом. Философия – от необходимости хотя бы мало-мальски осознать эту логику, поскольку без этого совсем темны жизненные дороги. И наконец юмор – оттого, что, если воспринимать вышесказанное на полном серьезе, жизнь становится и вовсе невыносимой.

Явная ссылка на предшественников содержится уже в начале одного из самых ранних рассказов «Бейла из рода Рапопортов» (1928), который был опубликован в журнале «Га-Ткуфа», а позже – в литературном альманахе «Гахалим лохашот».

В то время я странствовал по разным местечкам и повидал немало их обитателей – тех самых простых людей, образами которых полнятся литература и история нашего народа. Видел их скудную, раздавленную жизнь, кое-как барахтающуюся в бедности и грязи. И сказал я себе в сердце своем:

– Горе тебе, Биньямин Четвертый, на чью долю выпала сомнительная честь описывать удручающую убогость еврейского местечка. Горе тебе, о несчастнейший из всех, когда-либо бравших в руку перо!

И тогда я собрал все истории, записанные мною во время странствий из местечка в местечко. Что-то слышал я на лавочке возле полуразрушенной синагоги от древней морщинистой старухи, что-то – из уст молоденькой девушки, которую прибило ко мне волнами страха и безысходности. Или вот этот рассказ, поведанный мне старой девой Бейлой Рапопорт, которая гналась за своей мечтой, за главным смыслом своего жизненного предназначения. Бейлой Рапопорт, которая царапала по утрам спинку своей кровати, в то время как в окошко глазела на нее застывшая в тщетной пустоте жизнь, а горе победно праздновало вокруг свой черный, свой беспросветный праздник.

(здесь и далее – из рассказа «Бейла из рода Рапопортов»)

Нарисованная автором картинка повседневной жизни героев рассказа не слишком отличается от той, которая хорошо известна из книг Менделе, Переца и

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Шолом-Алейхема. Та же весна, и те же куры на том же дворе, где играют дети и куда выплескивает помои их усталая мать; та же повседневная погоня отца семейства за пропитанием, тот же убогий лоток на том же рынке; тот же начальственный свисток – правда, свистит теперь не царский городской, а советский милиционер, но итоговая разница невелика. Короче говоря, если забыть только что отгремевшую войну и погромы, сгубившие жениха девицы Бейлы из рода Рапопортов и еще многие тысячи женихов и девиц, – если забыть все это, то кажется, что жизнь полностью вернулась в прежнюю колею.

Весна танцевала во дворе, струилась радостью с шелковых небес, и в каждом уголке слышалась ее торжествующая песня. Суетились, чирикали птицы, перелетая с дерева на дерево. В пыли с фанатическим упорством сражались друг с другом два петуха из двух поколений – старшего, пока еще царствующего, и среднего, идущего на смену. Неподалеку, демонстрируя поразительное безразличие к исходу схватки, разгребал дворовый мусор многочисленный куриный гарем. Подростковая петушиная поросль, еще не созревшая для подобных сражений, вынужденно следовала за мамашами, но краем глаза наблюдала за драчунами и время от времени издавала тоненькие, но очень воинственные кличи. Тут же с воплями бегали соседские дети, Маня и Берл. Их мать Голда работала в кухне, успевая одновременно драить кастрюлю, раздувать угли, чистить картофель, носить воду и пробовать суп.

Время от времени женщина выходила во двор с горшком помоев, и весеннее солнце тут же принималось сочувственно целовать ее потное усталое лицо. Помои выплескивались под забор и немедленно принимались играть всеми цветами радуги, добавляя искр и света и без того сияющему миру. А вся куриная рать – и старые, и молодые – громко квохча, устремлялась к этому радужному источнику, дабы успеть поживиться картофельными очистками, остатками еды, отсеянной при готовке крупы и прочими деликатесами. Голда же, утирая с лица пот на обратной дороге в кухню, приостанавливалась на секунду, чтобы слегка одернуть разыгравшихся детей. Этим сорванцам только волю дай – весь мир перевернут...

Муж Голды, Ноах Поркин, стоял тем временем на рынке возле своего прилавка и отчаянно торговался с крестьянами и крестьянками по поводу качества и цены своего товара. Сам товар – всякого рода одежда – был развешен тут же на распялках, еще издали демонстрируя всем серьезным покупателям образец прочности и красоты.

– Эй! Штаны! Какие штаны! – что есть силы выкрикивал продавец. – Эй, земляк, ты только посмотри, какие штаны!

Так, в постоянных базарных криках и спорах, проходили дни этого маленького еврея. В четвертом часу пополудни раздавалась трель начальственной свирели милиционера Липенко, и рынок сворачивал торговлю. Продавцы расходились, лавки запирались на замок, и Ноах Поркин возвращался к жене и детям, погружаясь в нервную суету семейного дома. Все усаживались за стол,

Меж трех миров

Голда накрывала, ловко управляясь с мисками и тарелками, Маня и Берл проказничали, а Ноах выговаривал им, не переставая жевать.

Итак, все по-прежнему? Так, да не так. И дело даже не в том, что изменилось содержание газет, которые портной Ноах Поркин читает после обеда. Да, теперь там пишут не о выезде царской семьи и мелких городских происшествиях, а о революции в Китае и речи товарища Бухарина... – но это, как и раньше, встречается тем же «затяжным зевком, полностью соответствующим масштабу события», газета так же выпадает из рук, и местечковый портной так же блаженно засыпает на своей кушетке.

Дело в другом – в том, каким образом новая жизнь решает старые конфликты обычного человеческого свойства. Например, вскрывшийся банальный адюльтер невинного трудяги Поркина, чуть ли не силой затащенного в постель изнашивающей без мужчины соседкой. Ничего особенного, правда? Опять же – всё то же и оно же – в точности, как у Менделе и Шолом-Алейхема. Однако, методы, которыми «бывшая девственница Бейла Рапопорт» защищается от нападок обманутой жены своего возлюбленного (сразу, кстати говоря, сбежавшего подальше от скандала), принципиально новы.

Через неделю после того, как случившееся стало известно всем жителям не только этого местечка, но и всех окрестных городов и сел, к Бейле приехала ее младшая сестренка Берта, тоже из рода Рапопортов. Две сестры шептались всю ночь в поисках выхода из неприятной ситуации: попавшая под серьезное сомнение репутация девственницы Бейлы нуждалась в срочной поправке. На следующее утро Берта Рапопорт отправилась к врачу, специалисту по женским болезням и после тщательного обследования получила от него официальную справку, заверенную подписью и печатью. «Данная справка, – гласил документ, – выдана гражданке Б. Рапопорт в том, что она...» – далее следовали несколько научных латинских терминов, которые неопровержимо удостоверяли наличие у гражданки телесных признаков, каковые могут наличествовать только и исключительно у девственниц.

Эту справку Бейла присоединила к пространному письму, отправленному в местные органы законности и правопорядка. Письмо в деталях описывало те ужасающие издевательства, которым подвергается ее автор со стороны гражданки Голды Поркиной, ослепленной чувством темной и безрассудной ревности, для которой нет и не было никаких реальных оснований, – и это в то время, когда рабочие и крестьяне, взяв власть в свои руки, свергли проклятый режим помещиков и капиталистов! Означенная гражданка Голда Поркина, говорилось в письме, является женой некоего Н. Поркина – торговца, нагло сосущего кровь честных тружеников, то есть несомненного врага советского строя, находящегося целиком и полностью под каблуком у своей чудовищной жены и, как слепая лошадь, следующего всем ее указаниям, и даже публично целующего ее на публике, на глазах у всех! А мерзкое клеветническое слово «шлюха», которым означенная гражданка обзывает честную девушку, то есть автора письма, никоим образом не может стоять на одной платформе с прилагаемой справкой, выданной

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

уважаемым советским врачом в официальном советском учреждении. Исходя из вышесказанного, она, честная гражданка Бейла Рапопорт, обращается за защитой в наш красный советский суд, дабы тот твердой рукой покончил с буржуазными издевательствами и исторической несправедливостью, чинимой в ее отношении наймитами мирового капитала в лице Г. Поркиной и ее мужа. Потому как есть она круглая сирота, живущая трудом рук своих, и больше некому защитить ее в этом мире, некому взять ее под крыло или хотя бы просто сказать теплое слово, которое хоть немного скрасило бы трудную ее жизнь.

Прием, используемый здесь автором «Путешествий Биньямина Четвертого», который (Биньямин, а не автор) выслушивает историю несчастной Бейлы из ее собственных уст, лежа бок о бок с героиней в ее девичьей постели, взят из совершенного иного арсенала, чем тот, который был в распоряжении автора «Путешествий Биньямина Третьего» и его современников. Комический эффект здесь создается совмещением приземленной пошлости местечкового быта с революционной риторикой партийных пропагандистов. Здесь на ум приходит скорее Михаил Зощенко, чем Ицхак-Лейбуш Перец, – и Прейгерзон на виртуозном иврите совмещает два этих вроде бы несовместимых мира.

Тот же мотив обыгрывается и в рассказе «В лесах Пашутовки» (1927, еженедельник «Га-Доар», Нью-Йорк, а затем и альманах «Гахалим лохашот»).

С похожей деревенькой, расположенной рядом с Гадячем (Полтавская губерния), куда приезжают на летний отдых из ближних местечек и больших городов, мы еще встретимся в романе «Когда погаснет лампада». Но фигурирующая в рассказе деревня Пашутовка, судя по упомянутым на одном дыхании окрестным (и действительно реальным) Хролину и Судилкову, находится на Волыни, километрах в трехстах к западу от места действия романа. Видимо, речь здесь идет либо о самой Шепетовке, родине автора, либо о «дачной» деревне неподалеку от нее.

Летом собирается здесь настоящий интернационал: евреи из Пашутовки, евреи из Судилкова, евреи из Хролина, евреи с Филинки, и есть даже такие, которые приезжают из далекой Одессы!

И вот, самые бесстрашные из моих читателей, крадемся мы под покровом ночи в мертвой тени пашутовских лесов... Струйки лесного воздуха омывают наши разгоряченные лица, стаи звезд прокладывают нам путь в просветах между деревьями, тут и там падает на спящую землю еловая шишка. Где-то позади остались освещенные оконца, чьи-то восклицания, чей-то смех, чьи-то томительные песни, звучащие на верандах летних дач...

Позвольте же мне взмахнуть волшебной палочкой – она тоже отсюда, из пашутинского леса – и вот мы уже здесь, на укромных полянах, бок о бок со стройными стволами деревьев, на ковре прелой прошлогодней листвы, меж курчавых кустов, среди тонких стеблей и мягких лесных трав. Прохладный ночной ветерок радует наши отважные души – радует и звенит памятью былых дней, как кузнечик среди колосьев месяца Сивана.

Меж трех миров

Ну, а тех читателей, которые по робости не примкнули к нашему отряду, я попрошу дать волю воображению. Их удивленным глазам предстанут драмы, трагедии и комедии – целая симфония всевозможных страданий и душевных передраг. Тут вам и история Пинхаса-Петра Бука, самоотверженного борца за счастье трудящихся, и рассказ о Фанечке Кац, дочери нэпмана Яакова-Йешиягу, и повесть о Переце Маргулисе, члене профсоюза работников просвещения, и даже несколько слов о простой шиксе по имени Дашка.

(здесь и далее – из рассказа «В лесах Пашутовки»)

В этом отрывке хорошо слышна типичная интонация Цви Прейгерзона – мягкий, без тени язвительности, юмор и нескрываемая симпатия ко всему так называемому «интернационалу», куда, в полную противоположность формальному значению этого слова, оказываются включены только евреи – за исключением, разве что, «шиксы¹ по имени Дашка» – исключением, которое лишь подтверждает правило. Кстати, другую русскую девушку, которой суждено стать одной из центральных фигур вышеупомянутого романа, писатель назовет созвучно – Глашей и поселит ее в маленькой и тоже созвучной «дачной» деревеньке Вельбовке – только на сей раз на берегах реки Псёл, в Полтавской области.

А в рассказе рисуется та же комическая картина совмещения несовместимого. Вот они, Менделе и Зоценко в одном флаконе:

Последние лучи солнца еще цепляются за верхушки сосен, в воздухе звенят комары, смолкли дневные птичьи голоса. За столом восседает мадам Кац и ее супруг, реб Яаков-Йешиягу. Подает прислуга – девушка Даша, она же шикса Дашка. На белоснежной накрахмаленной скатерти – вино, субботняя хала, сияющее праздничным блеском столовое серебро. Присутствует также чья-то тетя Тамара Александровна, обладательница чрезвычайно интеллигентной внешности.

Петя Бук затравленно оглядывает всю эту картину. Вот ведь попал парень в западню! И не просто в западню, но прямоком в гнездо мировой буржуазии! В открытые окна врываются звуки вечернего леса, проникают сквозь колышущиеся занавески, ложатся у стен. Петя, слегка вспотев от волнения, ведет буржуазно-светскую беседу с мадам Кац, Фанечкиной матерью.

– Какой приятный воздух! – замечает мадам, и ее пухлые руки, празднично лежащие на скатерти, слегка вздрагивают, словно желают заграбастать лесной воздух Пашутовки в свое буржуазное владение...

– Дашка, неси голубой бокал! – говорит нэпман Яаков-Йешиягу Кац.

Он встает со стула, наполняет бокал портвейном и начинает торжественно произносить субботние благословения. Его громкий голос разносится далеко по окрестным дворам. После каждого упоминания святого Имени Кац делает небольшую паузу, и товарищ Петя Бук печально подтверждает:

– Благословен Он и Имя Его!

¹ Шикса (идиш) – не еврейка.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Но вот торжественная часть завершена, ее сменяет громкий перестук вилок и ножей. Интеллигентная гостья Тамара Александровна заворачивает настолько умную фразу, что мы даже не в состоянии воспроизвести ее здесь. За окнами темнеет лес, с соседней веранды слышно бречание мандолины. По окончании трапезы Петя просит Фанечку дать ему в руки гитару и, решительно ударив по струнам, исполняет за столом одесского нэпмана главный пролетарский гимн «Интернационал». При этом все присутствующие встают, а реб Яаков-Йешиягу сдергивает с головы ермолку.

Если в рассказе «Бейла из рода Рапопортов» сюжет еще играл какую-то – пусть и очень второстепенную роль, то здесь он и вовсе теряется, растворяясь в авторской иронии, в комизме формулировок и диалогов.

Беседа между товарищем Пинхасом-Петей Буком и отзывчивой девушкой Дашкой получилась довольно содержательной. Теплая летняя ночь наигрывала свои воздушные мелодии в концертном зале пашутинского леса. Одно за другим гасли окна в окрестных местечках от Пашутовки до Судилкова, и евреи, позевывая, ложились спать в свои удобные постели. Пинхас курил папиросу сорта 2-А¹ и говорил, что надо бы порубать их всех до единого – всех этих интеллигентов, паразитов, сидящих на шее трудового народа.

Он поедет в Кремль к товарищу Рыкову Лексею Иванычу. «Как же так?» – скажет он. – «Не я ли проливал кровь за республику рабочих и крестьян? Не я ли голодал за нее, Лексей Иваныч? И что же? Отчего вновь ходят меж нами дочери буржуазии, чьи тела белы и красивы, в чьих венах течет пролитая нами кровь, чьи накрашенные губки пьют нашу слезу?»

«Лексей Иваныч, – скажет он, – ты, верно, и знать не знаешь обо всех этих поэтах-интеллигентах, которые смеются над нами и затевают недоброе: сердца их отданы белым генералам. Давай соберемся с силами, боевой товарищ, соберемся и порубаем их всех к чертовой матери!»

И сказав это все, товарищ Пинкас Бук скрипнул зубами и вдруг крепко обнял девушку Дашку.

– Эх, Дашка, – сказал он, жарко дыша в нежное Дашкино ухо, – ты-то ведь не такая? Ты-то хорошая. Простая дочь простого угнетенного народа. Ты-то не пишешь этих гадских стихов...

– Все вы, мужики, обманщики! – отвечала Дашка слабеющим голосом.

Она разок-другой попробовала высвободиться из сильных рук товарища Бука, но потом, как видно, передумала, закрыла глаза и тихо опустила на землю – простая и хорошая дочь угнетенного народа.

Но главным содержанием «Путешествий Биньямина Четвертого» является, конечно, совсем другая тема.

¹ Качество папирос в первые годы Советской власти определялось пятью градациями сорта: высший, 1-А, 1-Б, 2-А и 2-Б. Таким образом, товарищ Бук в некотором роде шикует, позволяя себе не самый дешевый, но все еще пролетарский, не нэпманский сорт курева.

Бердичев-мама

Так, в дословном переводе с иврита, называется один из рассказов, включенных Прейгерзоном в сборник «Путешествия Биньямина Четвертого». Вот, кстати еще один пример критического несовпадения семантики. И дело тут даже не в том, что на русском и «город», и «Бердичев» – слова мужского рода, а на иврите – женского. Дело в том, что сочетание само по себе сопровождается в буквальном русском переводе принципиально неподходящими блатными ассоциациями (Одесса-мама, Ростов-папа и проч.)

В ранней прозе писателя отчетливо звучат два противоречащих друг другу мотива: отторжение – вплоть до отвращения – от старой иудейской традиции местечек и в то же время тоска – вплоть до отчаяния – при виде погибающего, неотвратимо тонущего мира. Это кажется необъяснимым: если старое местечко настолько отвратительно, то его гибели следует радоваться, а не приходиться от этого в отчаяние. Разве сам автор не выражал этого желая открытым текстом? Помните: «Умирай, погребенной в пыльной и темной гробнице!»

Так-то оно так, только вот как быть с бабушкой-Традицией, упомянутой в прологе повести «Паранойя»? Насколько было бы проще жить, если бы она не приходила, не вставала в ногах кровати – строгая, прямая и требовательная, если бы не молила, поблескивая сухими, выплуканными до последней слезинки глазами: «Ну пожалуйста, пожалуйста...» Сейчас это назвали бы когнитивным диссонансом; в рассказе «Бердичев» он ощутим особенно ярко.

Немало еврейских местечек объехал я в те дни, видел их унылое, безропотное умирание, и эта картина ядовитой ржавчиной разъедала мне сердце. Дети некогда многочисленного мира разъехались в дали дальние, расселились по другим землям, растворились в шуме больших городов, в месиве иных народов, погибли в мясорубке войны и погромов. Это был конец – дикий и бесповоротный конец, хотя душа моя и отказывалась мириться с печальной очевидностью смерти. И тогда отправился я в Бердичев, сказав себе в сердце своем: вот единственное место на земле, где жив еще дух настоящего еврейства! Уж где-где, а в этом городе всякий может воочию убедиться, что есть еще евреи в нашей Советской стране!

Так оказался я в Бердичеве, под присмотром странной звезды, которая сияла и звенела над моей головой, как чудесная жемчужина, вынырнувшая из черной глубины моря. Я вслушивался в случайные речи прохожих и не верил своим ушам: вокруг меня не звучало ни одного еврейского слова! И где? В Бердичеве! Малье проказники – или, как сказала бы моя мама, «пипернотеры» – бегали повсюду с красными галстуками на шее и вопили во все горло по своему детскому обыкновению; парни и девушки чинно разгуливали рука об руку, шептались, перекидывались шутками и пели мелодичные песни; кто-то очкастый, схватив за пуговицу такого же очкастого собеседника, яростно спорил с ним о политике... Но всё это – на языке язычников, словами другого, необрезанного народа!

Как видно, перевелись евреи в Бердичеве!

Ой-вей, Бог Авраама! Неужели такую участь уготовил ты своему народу?

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Стеная и не помня себя от горя, бродил я по городу – последний уцелевший еврей, малый обломок, щепка, крошка коры некогда мощного древа Израилева. Так брел я из улицы в улицу, из переулка в переулок, и холодный осенний ветер пронизывал меня до мозга костей. И казалось, что вместе с ветром ополчился на мою душу весь этот враждебный, чужой мир – и лишь одинокая звезда подрагивает надо мной, как теплый утешающий материнский взгляд, как единственная надежда и отрада.

...Это был всего лишь ветер, но мне казалось, будто стая дряхлых чертей бежит за мной, забегая вперед, похабно высовывая языки и охаживая меня своими грязными хвостами.

(здесь и далее – из рассказа «Бердичев»)

И тут, в минуту самого крайнего отчаяния, происходит благодатное вроде бы событие: путешественника ведут (вернее, тащат) на еврейскую свадьбу, дабы дополнить миньян (там присутствуют всего девять мужчин-евреев, в то время как для кошерной свадьбы требуется как минимум десять). Ах, лучше бы наш Биньямин Четвертый вовсе не видел этой свадьбы – похабного позорища, от которого пришли бы в ужас не только три предшествовавших ему Биньямина, но и все еврейские поколения одним скопом!

...вдруг послышались нетерпеливые крики: «Мазл тов!»¹, и сразу поднялась всеобщая суматоха. Минута – и присутствующие уже восседали за столами, бодро стуча вилками и стаканами. Хмель быстро овладел головами, глаза заблестели, каждый кричал что-то свое, и никто не слушал соседа. Моложавые сорокалетние женщины строили мне глазки и зазывно улыбались, а я топил в вине свое отвращение. Когда все уже основательно перепились, ударила музыка – какой-то популярный фокстрот, и евреи с еврейками, с некоторым трудом разбившись на пары, принялись пьяно раскачиваться слева направо, вперед и назад.

А я смотрел на эту якобы еврейскую свадьбу, и слезы вскипали в сердце моем, и дом радости казался мне домом скорбей. Знакомые дряхлые черти выглядывали из темных углов зала, хлопали в такт музыке, ухмылялись и корчили рожи.

Ой-вэй, что стряслось с тобой, дом Иакова?!

Ярость и отчаяние подбросили меня с места. Я вскочил на стол и закричал что есть силы:

– Стойте, евреи! Остановитесь! Все отменяется, как будто и не было! Хупа² – не хупа, и свадьба – не свадьба! – и, сунув два пальца в рот, я безуспешно попытался вернуть хозяевам праздника впустую потраченную на меня обильную еду.

¹ Мазл тов! (ивр.) – традиционное пожелание счастья.

² Хупа (ивр.) – балдахин (иногда это просто кусок ткани), который согласно традиционному еврейскому свадебному обряду держат над головами брачующихся. «Идти под хупу» означает то же, что и в русской традиции «идти под венец».

Меж трех миров

Музыка смолкла, танцующие перестали раскачиваться, приутих на время застольный гам-тарарам, и даже черти в углах повернули ко мне свои удивленные рыла. Все вдруг остановилось, за исключением особо мясистых задов, которые пока еще продолжали колыхаться.

– Стойте, евреи! – снова прокричал я. – Вы обмануты! Никакой я не еврей, а чистокровный гой по зачатию и по рождению! А значит, хупа – не хупа, а свадьба – не свадьба! Все отменяется, слышите?! Все! Отменяется!

– Да он пьян, – сказал кто-то. – Что вы его слушаете?

Я и в самом деле хлебнул лишнего и держался не очень твердо. Где-то в углу вспыхнул издевательский смех, и секунду спустя надо мной уже потешался весь зал. Отсмеявшись, гости вернулись к своему пакостному фокстроту, стаканам и поглощению пищи.

– Меня зовут Митрофан! – выкрикнул я, не слышный даже ближнему соседу, – Хупа – не хупа...

Но никто не обращал внимания на мои слова, даже тогда, когда, поскользнувшись, я с размаху шлепнулся спиной на свадебный стол. Подумаешь – еще один пьяный: вон их, полная комната! От нечего делать я сполз со стола и сразу попал в круговорот танцующих. Кто-то сунул мне в руку стакан, я выпил и с тех пор мало что соображал. Помню, какие-то толстые тетki по очереди жаловали меня своими пышными прелестями – это происходило где-то в коридорах, в мерзости и грязи. Даже темнота стыдливо отворачивалась от меня; сверху шумно дышали слюнявые толстухи, и сухая, острая тоска медленно сверлила мое несчастное сердце.

Таким – искаженным до неузнаваемости, до неприличия, до похабства видит Прейгерзон выродившийся еврейский мир – некогда бедный, тихий, неприязнительный, но при этом торжественно блюдуший древние святыи установления. Вывод напрашивается сам собой: если так, то лучше уж вовсе никак: «Всё отменяется! Всё! Отменяется!»

От такого еврейства исполненный отвращения Прейгерзон отказывается наотрез: «Никакой я не еврей!.. Меня зовут Митрофан!..»

Когда рассвело, я вышел на улицу вместе с Соломоном – одним из парней, приведших меня сюда. Осеннее утро Хешвана¹ встретило нас скучным зевком; облака висели так низко, что, казалось, задевали за землю. Мимо торопливо шли на рынок евреи с кошелками и корзинами. Соломон с презрением оглядел прохожих и молвил:

– У, жидовские морды! Вечор никого не попадалось, а нонеча ты только глянь: деваться от них некуда!

Он сплюнул, дабы еще больше подчеркнуть глубину своего отвращения, но уставшие от хмеля ноги не вынесли размаха движения, и Соломон, покачнувшись, шлепнулся в топкую грязь. Я смотрел на его несчастное лицо, слушал его ругань, а

¹ Хешван – месяц еврейского календаря. Соответствует октябрю-ноябрю.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

сверху, продавливая ватный покров облаков, на город Бердичев опускалась тоска. Она стекала с крыш, затопляла улицы, смешивалась с жидким глиноземом и висла на ветвях деревьев. А где-то снаружи тянулись во все стороны света тонкие струны горизонтов, и никому, ни в одной из этих сторон, дела не было до маленького, барахтающегося в грязи человека.

Спасением от этого ужаса может быть только одно: бегство.

В комнате стоял запах жареных семечек, сестричка Голда посапывала во сне, на стене белели лица Переца Смоленскина¹, Шолома Аша² и Хаима-Нахмана Бялика. В мерцающем свете тусклой масляной лампы едва различим был на столе оставленный мне ужин: два яйца и яблоко. На кушетке белела расстеленная для меня постель.

– Мама, я ухажу, – пробормотал я, наклонившись к кровати.

Ответом было все то же равномерное сопение Голды. Запах семечек буравил мне ноздри. Мамина голова – морщинистая, старческая – неподвижно лежала на подушке. Я вышел наружу и быстро пошел на станцию – в тот момент она казалась убежищем, укрытием для подобных мне беглецов. Железнодорожные рельсы блестели вдали, как манящая цель, как путеводный огонь.

В полях и на дорогах лежала густая туманная мгла. Я машинально сунул руку в карман, вынул горсть семечек и принялся лузгать их осторожно и тщательно. Я щелкал их одну за другой, пока вдруг не осознал, как невыносим мне этот запах. Нервно вывернув наизнанку карман, я вывалил семечки на дорогу и для верности втоптал их сапогом поглубже.

В местечке вдруг подала голос собака, разодрав молчание ночи – глухой отрывистый лай, подобный ударам в крепко запертые ворота. А я, смешав с дорожной грязью последний материнский подарок, бежал к станции, чтобы успеть на ближайший проходящий поезд.

(из рассказа «Моя мама»)

«Удары в крепко запертые ворота» – это все еще не выветрившаяся из местечка память о погромах; о них напоминает здесь каждая деталь, даже собачий лай.

Тот же знакомый мотив увядания покинутых местечек повторяется и в зачине рассказа «Машиах бен-Давид».

¹ Перец Смоленскин (1842-1885) – еврейский писатель-сионист, пропагандист иврита, редактор популярного литературного ежемесячника «Га-Шахар» (Рассвет).

² Шолом Аш (1880-1957) – еврейский писатель и драматург, писавший на идише и иврите. Известен еще и тем, что обсуждение его пьесы «Голубая кровь» послужило началом знаменитого «Чириковского инцидента» (1909).

Меж трех миров

Известное дело: в нашей стране, именуемой еще Страной Советов, к которой устремляются сейчас все силы и помыслы любого просвещенного человека, уходит в безвозвратное прошлое мир еврейского местечка. Бурные волны пятилеток смыли последние остатки тех, кто уцелел в годы погромов, и теперь звонкая пустота ходит из дома в дом по переулкам моего детства. Кое-где там еще зеленеет листва, лишь усугубляя картину запустения и утраты.

Первыми уехали молодые – десятки тысяч комсомольцев с горящими глазами хлынули на просторы огромной страны, чтобы встать в ряды строителей нового мира. А уже затем, последним обломком, снялись с места и старики – тогда-то и легла пыль на колени покинутых местечек. Едва-едва теплилась в окрестностях Харькова и Москвы угасающая лампада традиций и обычаев нашего народа.

Подхватил этот поток и меня – щепку от срубленного ствола моего любимого городка. Губы мои дрожали, когда я прощался с местом, где прошли мои детские и юношеские годы. А вид зеленых заплат – садов родного переулка – еще долго преследовал меня, беглеца, затянувшись в итоге на моей шее узлом, развязать который не дано ни судьбе, ни годам.

Видел я тогда брошенные субботные светильники, молитвенные покрывала и принадлежности, видел святые книги, выдернутые из привычных мест, сваленные в ящики и коробки переселенцев. Притихшие лавчонки и синагоги, робко выстроившись в ряд, провожали нас, шагавших в направлении железнодорожной станции. На местечко напознала осень; запах тления окутывал поля, и пока еще теплый ветерок равнодушно трепал листья в книге истории наших предков.

(здесь и далее из рассказа «Машиах бен-Давид»)

Что же там такое «теплится в окрестностях Харькова и Москвы»? Надежда на обновление, на свежие сильные побег, прорезающиеся из пока еще не окончательно высохшего пня на месте срубленной Традиции? Как бы не так... Датированный уже 1934 годом рассказ возвращает читателя к первой, восьмилетней давности повести «Паранойя».

К тому времени Биньямин Четвертый уже не путешествует по Волыни и Полесью; доехав до Москвы, он устроился в строительный трест и работает в бригаде бетонщиков-ударников, которая участвует в возведении крупнейшего в Европе автомобилестроительного завода (видимо, имеется в виду ЗИС/ЗИЛ). Жилья в перенаселенном городе не найти, так что герой снимает угол в дачном поселке Гавриловка, расположенном в 30 километрах от столицы. Кроме него в комнате живут еще «два странных еврея» – слепой реб Исер Пинкес и человек по имени Шлеймеле Малкиэль.

Последний – окарикатуренная версия «черного проповедника» Екутиэля Левицкого. Он совершенно безумен, воображает себя Машиахом (мессией, призванным спасти и возродить еврейский народ), бродит по ночам, строчит бессвязные тексты и грозит смертными карами слепому соседу, потому что того связывают узы взаимной симпатии с русской девушкой – хозяйской дочерью,

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

чахоточной Катей. Трогательный роман слепца с туберкулезницей завершается свадьбой – к совсем уже безграничной ярости сумасшедшего Шлеймеле.

Несколько дней спустя реб Исер перешел жить в комнату Кати, расписавшись с ней в качестве законного мужа. Вечером из города приехала дочь слепого, Рахиль Пинкес, студентка Коммунистической академии...

– Товарищи! – сказала она. – Вот они сидят перед вами – мой слепой отец и его молодая жена Екатерина. Деникинцы отняли у моего папы зрение в брянских лесах. Они пытали его, эти белогвардейские твари, забыв о том, что есть у нас Советская страна и есть у нас Красная армия, всегда готовая пролить кровь во имя трудового народа. И вот теперь они сидят перед вами – мой слепой отец и его молодая жена Екатерина!

Итак, дочь реба Пинкеса не видит ровно никакой проблемы в появлении в семье русской мачехи. Как это часто бывает у Прейгерзона, внешне простое повествование наполнено подспудной символикой. Молодые евреи – рассказчик, состоящий в ударной бригаде (которая, несомненно, работает по субботам – если это понятие вообще существует в описываемый период: ведь с 1929 по 1931 год, с введением пятидневок, прежние дни недели были вовсе отменены) и студентка Коммунистической академии Рахиль – почти полностью ассимилированы.

Старшее поколение, представленное ребом Исером, слепо, никчемно, бездомно и не разбирает дороги. Ассимиляция, таким образом, торжествует победу, а Традиция жива лишь в выродившемся состоянии: либо это фальшивое, для вида, соблюдение удобных в данный момент обрядов (что, как мы видели в рассказе «Бердичев», неминуемо сваливается в похабщину), либо – паранойя «черного проповедника» Екутиэля Левицкого и дикие выкрутасы безумного «машиаха» Шлеймеле Малкиэля. Плохо и то, и другое; получается, что и у старших нет иного выхода, кроме как примкнуть к ассимилированному молодняку. Оттого и немислимая прежде свадьба Исера Пинкеса с Катей совершается в немислимом прежде советском стиле: расписались и выпили.

Вскоре наступил Песах, речка вздулась, вышла из берегов, и грязные льдины, сталкиваясь и громясь друг на дружку, устремились вниз по течению. В канун праздника мы втроем отправились в молитвенный дом – реб Исер Пинкес, Шлеймеле Малкиэль и я. И вновь увидел я там обломки былой жизни исчезнувшего местечка, праздничные светильники, кучку печальных стариков. Один из присутствующих одолжил мне свой молитвенник. Когда дошло до молитвы «Славься», все очень воодушевились. Старики раскачивались с удвоенным усердием, а Шлеймеле Малкиэль так и вовсе обезумел. Казалось, его бледное, устремленное к Богу лицо было скроено из того же материала, из которого делались великие пророки – Исайя, Иезекииль и Шабтай Цви. Из темных углов комнаты, от ковчега со свитками, от морщинистых шей, напрягшихся в громкой молитве – отовсюду слышались мне отголоски моего ушедшего детства. Я вышел наружу, и ночная прохлада бросилась мне на грудь и обняла, как

Меж трех миров

стосковавшаяся подруга. Со стороны железной дороги слышался стук колес проходящего поезда, а в нем – дыхание всей огромной страны.

Но вот поезд прошел, и глубокая тишина опустилась на Гавриловку. Я решил пройтись по берегу бурлящей речушки; отчего-то волшебство ночи наполняло меня непонятной тоской. В какой-то момент я услышал голоса Исера Пинкеса и Шлеймеле Малкиэля, моих странных соседей.

– С чужой женщиной делишь ты ложе свое, реб Исер, предатель, старый ты черт, – лихорадочно твердил Шлеймеле. – Что скажешь Господу, когда предстанешь перед Его лицом?

– Скажу: оба глаза Ты забрал у меня, Господи, оттого не видать мне Твоего лица, – отвечал на это реб Исер Пинкес. – Отведи меня домой, Шлёма. Ты болен. Ты сумасшедший ешиботник¹, нищий, больной и грязный...

– Домой?! Нет у тебя дома в этом мире! – закричал Шлеймеле.

Всё в этом коротком диалоге – правда. Реб Исер действительно делит ложе с «чужой женщиной», что действительно является очевидным предательством установлений Традиции, в которых он бы воспитан. Господь действительно «забрал» у него оба глаза, лишив возможности видеть Божественный лик – и это самооправдание действительно можно предъявить любому суду. Шлеймеле действительно нищий и больной сумасшедший ешиботник. И у двух этих евреев действительно «нет дома в этом мире»...

Рассказ заканчивается еще одним хорошо понятным в предыдущем контексте символом:

Речка бурлила, выламывая и громоздя куски черного ноздреватого льда. Их тоже несло вниз по течению, по заранее назначенной дороге, всё вперед и вперед, до самого последнего конца.

Слепой реб Исер Пинкес и безумный ешиботник Шлеймеле Малкиэль обречены. Бурлящая река жизни неминуемо выломает их из нор, куда они забились, оторвет от временных берегов, за которые они цепляются, и унесет прочь, «по заранее намеченной дороге», к самому последнему концу. Этим не подлежащим обжалованию приговором Цви Прейгерзон завершает первый этап своего творчества.

На дворе 1934 год; Киров будет убит только в декабре, но уже ощутимо приближение Большого террора. С ивритом в Стране Советов покончено давным-давно, теперь потихоньку отменяют и идиш. Еврейская жизнь затухает; евреев, считай, и нет больше: есть советские граждане еврейского происхождения, не желающие ничем отличаться от прочих советских граждан. Неважно, откуда произошел – важно, куда пришел.

Нечего и думать о том, чтобы, как прежде, посылать рассказы в зарубежные издания – переписка с границей смертельно опасна. Да и, честно говоря, о чем еще писать? Главные мотивы в рассказах и без того начинают повторяться.

¹ Ешиботник – учащийся ешивы.

Миссия выполнена, об увиденном рассказано, и теперь можно со спокойной душой взглянуть в глаза стоящей у кровати бабушке.

Рассказ «Машиах бен-Давид» был опубликован лишь в начале 60-х в вышедшем в Тель-Авиве ограниченным тиражом сборнике «Ховерет сипурим», без указания фамилии автора.

Возвращение к столу

В Москве Прейгерзоны дружили и тесно общались с семьей Сивашинских, чьи родные проживали в городке под названием Гадяч, на Полтавщине. Места, в общем, знакомые: Кролевец, ставший второй родиной для Цви и его жены Лии, находился всего в сотне километров к северу от Гадяча, так что Сивашинские и Прейгерзоны вполне могли считаться земляками.

Расположенный на берегу медленной реки Псёл, в гуще девственных сосновых лесов, Гадяч был превосходным местом для отдыха. В конце 30-х годов, приняв приглашение друзей, Прейгерзон привозил туда на все лето семью. Если судить по страницам романа «Когда погаснет лампада» и по воспоминаниям дочери писателя, Нины Григорьевны Липовецкой-Прейгерзон, это были счастливейшие месяцы в жизни его семьи.

В самом деле, Москва 1938-39 годов меньше всего подходила для спокойной семейной жизни. За свое будущее не мог тогда поручиться никто, включая самих чекистов, увозивших по ночам в полнейшую неизвестность ни в чем не повинных людей – преподавателей, рабочих, инженеров, продавцов, артистов, бухгалтеров, ученых – всех, всех подряд. Широко размахнувшаяся метла сталинского террора могла подхватить кого угодно, без какого бы то ни было смысла и какой бы то ни было логики.

Полным ходом шли «чистки» разного рода: вычищали – то есть увольняли, а затем и арестовывали потенциальных врагов и социально-чуждые элементы. Учреждения и институты, фабрики и заводы избавлялись от лиц неправильного классового происхождения. И не только классового, но и расового – нежданно-негаданно для советских евреев в число «неправильных» попали и они. В противоположность впечатлениям первых советских лет выяснилось, что важность имеет не только вопрос, куда ты пришел, но еще и – откуда ты вышел.

Ведущий советский дипломат М. М. Литвинов был снят с поста Наркома иностранных дел, а вслед за ним вылетели за дверь и другие «окопавшиеся» в наркомате «лица еврейской национальности». В атмосфере переговоров, ведущихся с нацистской Германией, которая официально провозгласила еврейство своим главным идеологическим врагом, эти некогда ценные работники превратились в обузу – или, как выразился сменивший Литвинова Молотов, в «ряд чуждых партии и советскому государству людей».

Неудивительно, что тихое полтавское местечко казалось в этой ситуации совершенно другим миром – безмятежным и полным радости. Вот ведь как всё повернулось! Еще двадцать лет тому назад все обстояло ровно противоположным образом: безопасно и перспективно было в Москве, в то время как Гадяч, Кролевец, Шепетовка и другие местечки плавали в крови погромов! Да и потом...

– не отсюда ли в начале 20-х годов бежал, сломя голову, Биньямин Четвертый, с отвращением втопав в дорожную грязь материнские семечки?

Тогда местечко казалось ему грязной заплесневелой гробницей. Теперь, похоже, гробница переехала в столицу – даже не гробница, а целый мавзолей, который высился громадным гранитным параллелепипедом на Лубянской площади... А что до местечка, то оно, как выяснилось, и не думает умирать.

Конечно, там не так много молодежи, а тридцати – сорокалетних, уехавших когда-то в большие города за образованием, и вовсе почти не видать. Стариков тоже поубавилось. Синагоги все еще пустуют по субботам, наполняясь разве что по праздникам и на молитвы Судного дня. Но, как и раньше, горит негасимый огонь на могиле Святого рабби Шнеура Залмана из Ляд, и по-прежнему сидит в старом штибле возле нее очередной черный проповедник или кладбищенский служка – сидит, уставив горящий взор в темный потрепанный фолиант. Он одновременно и другой – прежнего убили в Гражданскую – и такой же; откуда-то они все время берутся, эти непоколебимые рыцари Небесного Царя, входят в опустевший штибль, садятся на осиротевшую скамью и упрямо открывают всё ту же самую книгу.

Но главное – подрастает новое поколение, плещется в речке, стучит по дороге босыми пятками, ворует из садов сладкие украинские яблоки... Значит, живо местечко, дышит, смеется, радуется, забывает понемногу о временах смерти и разорения. Как тут было не задуматься о неистребимом жизнелюбии, о беспримерной жизнестойкости этого народа, раз за разом восстающего из пепла пожарищ, снова и снова собирающего по крохам оставшееся после грабителей нищенское добро, чтобы опять начать жить заново?

Получалось, что мрачное предсказание писателя, в своем последнем к тому времени рассказе отправившего родную Традицию в небытие, вниз по бурлящей реке вместе с черными зимними льдинами, было чересчур пессимистичным. Растоптанная сапогами погромщиков, придавленная к земле тоталитарным катком большевизма, Традиция вывернулась на волю, приспособилась настолько, насколько было возможно, и принялась потихонечку выживать, терпеливо дожидаясь лучших времен. Уж кто-кто, а она, корневая, всем существом своим близкая к земле, точно знала: погромы и большевики приходят и уходят, и лишь земля – а значит, и она, Традиция, – стоит до скончания лет.

Возможно, именно в те летние месяцы Прейгерзон стал подумывать о возвращении к письменному столу. Вообще-то, он никуда от стола и не уходил: все время, свободное от практических опытов, лекций и занятий со студентами, Григорий Израилевич посвящал подготовке учебников и монографий, по которому впоследствии будут заниматься несколько поколений советских горняков. Речь тут идет, конечно же, о возвращении к ивриту, к писательству.

Несомненно, глядя на далекий от запустения рынок Гадяча – бойкий, пестрящий платками, звенящий голосами с приятным уху Прейгерзона еврейским акцентом, писатель радовался своей былой ошибке и хотел бы ее исправить, рассказав об этом новом, непостижимым образом приспособившемся к советской власти местечке. Очень может быть, что он так бы и поступил, если бы только не грозила с севера, оттуда, где сходятся все железнодорожные пути, страшная гранитная гробница сталинской Москвы... Что будет, если факт его занятий

ивритом выплывет наружу? Известно что: арест, тюрьма, лагерь, если не немедленный расстрел.

Да, можно писать по ночам, за запертой дверью, скрываясь от всех, даже от детей – особенно, от детей, чтобы не вмешивать их в это смертельно опасное дело. В конце концов, у него есть прикрытие: монография по методам обогащения угля. Пусть думают, что он занимается именно этим – тем более, что он действительно этим занимается. Только вот известно: как веревочка ни вейся, а кончик найдется... Неосторожно брошенная фраза, оброненный клочок бумаги, вырвавшееся во сне слово, внезапный обыск... – да мало ли что! В их большой коммунальной квартире наверняка есть штатный доносчик – поди знай, не шарит ли он в их отсутствие по ящикам и шкафам, не проверяет ли благонадежность каждого волоска, каждой пылинки... Имеет ли право такой ответственный человек, как Григорий Израилевич Прейгерзон, поставить под удар всю семью – жену и троих детей?

Ответ на этот вопрос был отрицательным – нет у него такого права. Впоследствии в «Дневнике воспоминаний» Прейгерзон уточнит, что его вынужденное молчание длилось несколько лет. Но выше уже говорилось о том, что настоящий писатель пишет даже тогда, когда ничего не пишет. Накопленные в Гадяче яркие впечатления легли потом в основу большого романа «Когда погаснет лампада» – главного творения Цви Прейгерзона.

А пока семья Прейгерзонов возвращается в столицу – к повседневному страху, к бессонным ночам, когда шум автомобильного мотора на улице кажется – и чаще всего действительно является – зловещим предзнаменованием. Кого берут на этот раз? Неужели из нашего дома? Или даже из нашего подъезда? Звук шагов на лестнице громом отдается в ушах притихших, затаившихся горожан. В голове мечутся обрывки мыслей: всё ли подготовлено? Всё ли сказано? Всё ли нужное сложено в вещмешок, ждущий своего часа под вешалкой? Мыло, теплые носки, две пары белья, табак, шерстяной свитер, галеты... Говорят, там бьют... Говорят, там уголовники... Мимо! Они поднимаются выше, на другой этаж! Вот слышится стук в дверь – другую, не мою. И – под дружный вздох облегчения всего остального дома, всего остального мира – паническая мышинная побегка чьей-то обреченной семьи, запах чьего-то ужаса, чьего-то несчастья. Чьего-то – не моего. Значит, на этот раз пронесло, можно выдохнуть, можно попробовать заснуть – до следующей ночи.

По возвращении из счастливого Гадяча начинается не только учебный год у дочерей – начинается война. Новоявленные союзники – коммунизм и нацизм – рвут надвое Восточную Европу. Как к этому отнестись – пока непонятно. С одной стороны, прекрасно, что евреям Прибалтики, Западной Белоруссии и Западной Волыни, а также Восточной Галиции, Бессарабии и Северной Буковины уже не угрожает оголтелый антисемитизм Гитлера. С другой – неясно, чего ждать от Сталина: массовые чистки еврейских служащих не предвещают ничего хорошего.

В декабре СССР нападает на Финляндию, и его исключают из Лиги наций, что окончательно помещает Советский Союз в крайне несимпатичный лагерь – вместе с фашистами против всего остального мира. В отличие от поляков и румын, финны отчаянно сопротивляются и ожидаемой быстрой победы не получается; из уст в уста передаются слухи об огромных потерях Красной армии,

о расстрелянных за головоуятие командирах, о целой советской дивизии, запертой и полностью уничтоженной в финских Фермопилах, на узком пространстве меж двух озер.

А еще через полтора года разверзается настоящий ад, по сравнению с которым неудачи Финской войны предстают детской игрой. 22 июня застает семью Прейгерзона (сам он пока еще в Москве) по дороге на дачу – на сей раз, в районе Конотопа, между Сумами и Черниговом. По воспоминаниям Н. Г. Липовецкой-Прейгерзон, их спасло недоразумение: деревня, которую они наметили для отдыха еще в Москве и которую до того в глаза не видели, оказалась неподходящей. Поэтому мать решила вернуться в Конотоп и уже оттуда поискать более удобный вариант. Там-то, наутро после ночевки в доме приезжих, они и узнали о начавшейся войне. На станции еще продавали билеты (вскоре железная дорога перешла на военное положение, и кассы закрылись), так что им чудом удалось добраться до Москвы. Вряд ли это получилось бы, если бы семья осталась в деревне. Два с половиной месяца спустя в Конотоп вошли немцы, и все евреи городка – как местные (по имеющимся оценкам, 280 семей), так и застрявшие там по разным причинам беженцы – были расстреляны в ноябре того же года.

Прейгерзон не подлежал призыву по возрасту, но пошел добровольцем в организованное тогда же народное ополчение, ставшее впоследствии, как известно, пушечным мясом в сражении под Москвой. Почти безоружные, необученные, неумелые пожилые люди были обречены на быструю гибель в первом же бою. Прейгерзона, как и его семью ранее, спасла случайность – приступ язвы двенадцатиперстной кишки, которая разыгралась во всю мощь от не подходящей для язвенника полевой пищи. Врач лазарета немедленно списал не годного к строевой службе солдатика. Писатель вернулся в Москву.

К тому времени немцы уже подходили к Донецку, и страна оказалась отрезанной от донбасского угля. В этой ситуации требовалось резкое увеличение добычи в других месторождениях, и Прейгерзон получил направление в Караганду на должность главного инженера крупного обогатительного комбината. Вместе с ним туда переехала и вся его семья.

Умный и трезвомыслящий человек, Прейгерзон с самого начала не питал никаких иллюзий по поводу намерений Гитлера в отношении евреев. Чего, кстати говоря, никак нельзя сказать о многих других жителях местечек Белоруссии и Украины. Там, к сожалению, предпочитали ориентироваться на уроки Первой мировой войны. Тогда немцы, занявшие эти районы, вели себя весьма цивилизовано, что выгодно отличало их от антисемитского командования российской армии и, чуть позже, – от денкинцев, петлюровцев, махновцев и прочего погромного сброда. Людям казалось, что нет никакой причины, по которой всего два – два с половиной десятилетия спустя германские оккупационные власти станут действовать как-то иначе.

Поэтому сразу после начала войны, когда обозначилось военное превосходство вермахта и стало ясно, что будут захвачены многие традиционно еврейские места, Прейгерзон стал рассылать письма находящимся там родственникам, друзьям и просто знакомым. Писатель предупреждал о смертельной опасности и призывал сделать все возможное для немедленной

эвакуации в глубь страны, как можно дальше от линии фронта. К несчастью, его послушали далеко не все, а многие были попросту лишены какой-либо возможности спастись из-за полнейшей неразберихи, отсутствия транспорта и невозможности пуститься в путь с малыми детьми или нетранспортабельными больными и стариками.

К 1942 году слухи об акциях немецких зондеркоманд дошли и до Караганды. Понятно, что тогда Прейгерзон еще не мог знать ни об истинных масштабах Катастрофы, ни о лагерях смерти, ни об утвержденном на Ванзейской конференции¹ плане «окончательного решения еврейского вопроса». Он просто чувствовал: происходит что-то страшное, непоправимое, с неумолимой логикой вытекающее из всех предшествующих действий гитлеровской военной и пропагандистской машины. Эту нарастающую, грызущую душу тревогу за родные места – за Гадяч, Кролевец, Шепетовку, Бердичев, Житомир, Жмеринку, Киев, Одессу... – можно было утолить лишь одним-единственным способом: начать писать.

И Цви Прейгерзон снова взял в руку перо, казалось бы, окончательно отложенное несколько лет тому назад. Писатель вернулся за свой письменный стол.

Меж строк «Капитала»

На фоне чудовищного явления Катастрофы бледнели все прошлые опасения и страхи. Но тем не менее Прейгерзон не был бы самим собой, если бы не принял максимальные меры предосторожности.

Жизнь в тоталитарном обществе учит людей особому эзопову языку, умению, что называется, «читать между строк». Это хорошо известно. А вот как насчет «писать между строк»? Именно это делал в Караганде Цви Прейгерзон, тщательно вписывая дорогие его сердцу ивритские буквы меж строк толстого тома «Капитала». Мог ли представить бородатый основоположник марксизма, выкрест и антисемит, всеми фибрами души ненавидевший «реакционных и невежественных *остюден*», что тяжеловесные рассуждения о прибавочной стоимости на страницах его основополагающего труда будут соседствовать с трогательными описаниями еврейского местечка и его мудрых и наивных обитателей?

Об этом писал Цви Прейгерзон во время войны – самой разрушительной и страшной в истории человечества: о мирном летнем Гадяче, о ласковой речке Псёл, о высоких кронах чудесных сосновых лесов, о родных и близких своих друзьях Сивашинских, в чьем гостеприимном доме Прейгерзоны гостили два года подряд. Писал, изнывая от тревоги за их нынешнюю судьбу, писал, как будто ожившие в памяти картинки безмятежного дачного лета могли подменить,

¹ Ванзейская конференция – совещание, созванное 20 января 1942 в пригороде Берлина Ванзее под председательством начальника Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха для координации работы всех ведомств (политическая полиция, МИД, Минюст, управление транспорта и проч.), чье участие требовалось для «окончательного решения еврейского вопроса». Утвержденные там решения запустили на полную мощь уже опробованную во многих местах машину Холокоста.

отодвинуть, предотвратить нынешнее несчастье. Так были созданы первые главы романа «Когда погаснет лампада».

Два года спустя, осенью 1943-го писатель вернулся в Москву в составе Горного института, чей коллектив переживал войну в той же Караганде.

К 1945 году Прейгерзон, не прекращая работать над романом, завершил два новых рассказа, также включенных им в цикл «Путешествий Биньямина Четвертого». Они словно написаны другим человеком – не автором «Паранойи», «Гителе» и «Бердичева». Годы молчания не прошли даром. Яростную образность экспрессионизма сменила сдержанная, лапидарная, лишенная излишних вольностей манера. В обоих текстах действие происходит в местечке, оккупированном немцами.

Правда, в рассказе «Бухгалтер Шапиро» немцев не видно – они словно остаются за кадром. О них говорят, о них думают, ждут от них страшного, их комендатуру обходят задворками, чтобы не наткнуться на солдата или полиция, но так с ними и не сталкиваются. Если снимать по этому рассказу кинематографический эпизод, то можно обойтись всего тремя актерами для трех персонажей: Израиля Исаевича Шапиро – главбуха городского отдела торговли, его жены Сары и сторожа-истопника Трофима.

Это случилось вскоре после того, как в местечко вошли немцы. В первые два месяца они не трогали евреев, но в воздухе витали страшные слухи, и страх перед будущим черной занозой сидел в каждом еврейском сердце. Говорили, что у военного коменданта и бургомистра нет полномочий на проведение акций. Говорили, что для этой цели должна прибыть специальная команда СС. Из ближних окрестностей в городок добирались те немногие, кому повезло уцелеть после массовых убийств. Их жуткие рассказы передавались из уст уста, из дома в дом.

Мелкими шажками приблизилась осень, позолотила кроны вязов и лип, укрыла землю пятипальными ладонями кленов. Вскоре деревья и вовсе облысели; ветер гонял по улицам мертвую листву, обрывал те немногие уцелевшие листки, которые еще держались, цеплялись за материнскую ветку. Затем пошли дожди, и грязевые болотца установились во дворах и на рыночной площади.

...Дни были полны скорби – ни лучика надежды, ни крупницы радости. Евреи затаились в домах, ждали, стараясь как можно меньше показываться снаружи. На улицы выходили лишь по крайней нужде – за продуктами, в лавку, на рынок. Но и там торговля шла тайком, будто из-под полы. Израиль Исаевич Шапиро тоже почти безвылазно сидел в своей квартире на улице Шевченко.

(здесь и далее из рассказа «Бухгалтер Шапиро»)

От прежней картины местечка здесь осталась лишь осенняя грязь во дворах и на улицах. Нет ни бородатых стариков с их навязчивыми молитвами, ни «пыльной гробницы», в которой умирает никому не потребная Традиция, ни бутафорской похабщины соблюдаемых для вида обрядов, ни бывшего запустения и ощущения тупика. Напротив – речь в рассказе идет о людях, которые смертельно напуганы, но безусловно живы. Война и оккупация внезапно вырвала их из

оборота привычной, хорошо налаженной жизни, и пока что они страдают прежде всего от отсутствия былых повседневных обязанностей, рабочего ритма будней.

Всю свою жизнь, начиная с молодых лет, он сидел над счетами и конторскими книгами, морщил лоб и вписывал цифры в клетки всевозможных таблиц. После установления советской власти Шапиро работал главбухом в городском отделе торговли. Каждый день ровно в одно и то же время он выходил из дома ради того, чтобы, как оно и полагается ученому человеку, усесться на деревянный стул, прикрытый во избежание излишних геморройных страданий плоской цветастой подушечкой. Усесться – и писать, вычеркивать, считать, проверять, пересчитывать – то есть делать все то, чем занимаются бухгалтеры везде и повсюду.

В этом, собственно говоря, и заключалось жизненное предназначение Израиля Исаевича Шапиро...

И вот все это вдруг кончилось, прошло, как не бывало. Война одним махом выбила Израиля Исаевича из повседневного рабочего расписания жизни. И вот ходит он, совершенно непривычный к безделью, из угла в угол своей аккуратной комнаты, ходит и обдумывает гуляющие по местечку слухи. Но сами посудите: сколько может ходить такой человек из угла в угол, не сходя при этом с ума?

– Пойду, пожалуй, пройдуся, – говорит Шапиро своей жене Саре, которая возится в это время на кухне, как возилась там ежедневно, без какой-либо связи с тем, что происходит за стенами дома. Ей, Саре, не понять, каково это – одним махом лишиться привычного дела.

Это очень показательный момент: жена бухгалтера не чувствует особых жизненных перемен. Саре легче, чем мужу, уже хотя бы потому, что ее рабочее место – дом и кухня – пока еще при ней. А вот Израиль Исаевич совершенно не может усидеть дома и, невзирая на протесты жены, облачается в добротное пальто, надевает широкополую шляпу и, натянув на башмаки новенькие галоши, выходит на безлюдную улицу.

Ноги сами несут его к зданию горотдела. Там, как и следовало ожидать, нет никого, кроме сторожа-истопника Трофима, который, подбрасывая в печь конторские книги, варит картошку в мятом солдатском котелке. Но Шапиро рад и Трофиму; он присаживается рядом и заводит беседу. Вот только обычно приветливый и услужливый сторож не торопится отвечать главбуху – еще недавно одной из самых важных фигур в местной иерархии.

– Что слышно, дружище Трофим? – с некоторой, не совсем свойственной ему игривостью повторяет Израиль Исаевич.

Эта игривость одолжена им из прежних счастливых дней. Как будто Шапиро только-только вернулся из удачной командировки в областной центр, куда ездил сдавать годовой финансовый отчет. Как будто вот прямо сейчас он энергичной походкой войдет в свою комнату, пожмет руки товарищам по работе и, поправив галстук, постучится в дверь к «хозяину» – начальнику отдела товарищу Яковенко. А потом, после короткой беседы с начальником, вернется к себе, раскурит трубку,

Меж трех миров

водрузит на нос очки и, глянув в счетные таблицы, впишет нужное число в нужную графу. И снова: таблицы – число – графа, таблицы – число – графа... Всё, как положено, всё, как заведено в правильном распорядке бухгалтерской жизни.

Но, похоже, сейчас эта игривость вовсе неуместна. Сторож Трофим поворачивает к бухгалтеру свое плоское равнодушное лицо. Маленькие глазки оглядывают бывшего главбуха с ног до головы – от новых поблескивающих галош до шляпы с широкими полями. Раньше в ответ на подобный вопрос Трофим вскакивал со своей скамьи и, вытянувшись во фронт, радостно рапортовал: «Никак нет ничего нового, товарищ Азриил Ясаевич!» Но это – раньше; сейчас сторож угрюмо отворачивается и, не меняя позы, бурчит себе под нос всего лишь одно слово:

– Ничего.

Эта явная перемена в поведении единственного оставшегося в наличии сотрудника неприятно поражает бухгалтера, но он проглатывает обиду и возвращается в свою бывшую рабочую комнату, к столу, за которым просидел многие годы. И тут выясняется, что Трофим все же не прочь продолжить общение.

В комнату заглядывает из коридора сторож Трофим. Он стоит на пороге, угрюмо смотрит в пол и молчит.

– Что ты хочешь, Трофим?

Трофим указывает на галоши главбуха. Начались дожди, нужна подходящая обувь, а он ходит едва ли не босой.

– Снимай галоши, Азриил Ясаевич!

Бухгалтер Шапиро теряет дар речи. Лихорадочные мысли роятся в его голове. Что он несет, этот гой? Отдать ему галоши – видали?! А как сам Израиль Исаевич доберется домой без галош по грязи и по лужам? Не он ли всю жизнь берегся от влажности, простуды, подагры, кашля, насморка? И потом, грязь может испортить ботинки. Хорошо же он будет выглядеть, вернувшись домой! Можно представить, какой концерт устроит ему Сара! Старые галоши совсем стоптались, уже не годятся. Отнести их, что ли, к Ицику-сапожнику, авось залатает...

– Они малы тебе, Трофим, – говорит он вслух слабеющим голосом.

– В самый раз, – отвечает сторож. – Тринадцатый размер.

– Вот видишь! У меня одиннадцатый! – с надеждой сообщает Шапиро.

– В самый раз, – с угрюмой угрозой повторяет гой. – Снимай галоши!

А что если он не ограничится галошами? Этот вопрос молнией вспыхивает в голове Израиля Исаевича. Что если гой вот прямо сейчас потребует пальто, шляпу... да мало ли что? Что если гой разденет его донага – ведь может! Может!

Шапиро поспешно стягивает с ног галоши, оставляет их на полу, как кость для голодного пса-людоеда – пусть отвлечется хотя бы на время – и быстро идет к выходу.

– Прощай, Трофим! – машинально говорит он и выскакивает во двор, на улицу.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Вот, собственно, и все действие этого короткого, но страшного рассказа, где знакомым, типичным для Прейгерзона методом подспудной, но ясно читаемой символики передана картина возвращения к былому, до-советскому распределению ролей. Израиль Исаевич Шапиро больше не главный бухгалтер; впрочем, слово «бухгалтер» тут лишнее – он просто больше не главный. Он теперь снова еврей, то есть жертва. Главным же опять стал сторож Трофим – как двадцать лет назад, когда такие вот трофимы, громыхая сапогами, врывались в замершие от ужаса домики местечка. Врывались, чтобы грабить, насиловать, убивать.

Дворовый пес, еще вчера приветливо помахивавший хвостом, вдруг превратился в волка-людоеда. Нет-нет, лучше уж отдать эти чертовы галоши...

Трофим теперь наверху, в хозяевах жизни, в вершителях судеб. А он, еврей Шапиро, – внизу, на самом дне, близко-близко от смерти.

Поминутно оглядываясь, маленький бухгалтер Шапиро шагает по пустынным улицам местечка. Идет, прижимаясь к заборам, кузнечиком перепрыгивая через лужи, обходя заболоченные места. Делая большой крюк, обходит опасный район центра, где можно наткнуться на полицая, на немецкого солдата, на пулю, на штык, на побои. И кажется Израилю Исаевичу, что чей-то страшный взгляд упирается ему в спину, взгляд чьи-то хищных, опасных, безжалостных глаз, от которых не скрыться, не спрятаться.

Сгорбившись и став оттого еще меньше, семенит по лужам маленький обреченный еврей. Сейчас забрали галоши... но что будет, когда придут за жизнью? Что будет, что будет?

Известно, что будет.

Говорите, «Шинель»? Ах, с какой поспешной готовностью променял бы прейгерзоновский Израиль Исаевич свой невыносимый многовековой ад пусть даже на удешевленные страдания гоголевского Акакия Акакиевича...

Путь к спасению

В цикл рассказов «Путешествия Биньямина Четвертого» включена и небольшая повесть «Шаддай». Уже знакомый читателю путешественник Биньямин появляется там в самом конце, к действию отношения не имеет и, честно говоря, его присутствие в повести не выглядит обязательным. Почему тогда Прейгерзон включил именно этот текст в свой тематический сборник, оставив за его рамками другие, более поздние рассказы? Ответ кажется очевидным: «Шаддай» закрывает тему еврейских местечек бывшей черты оседлости. Закрывает прежде всего потому, что результатом Катастрофы стало полное их исчезновение.

Выстояв против Хмельницкого, гайдамаков, погромщиков и жесточайшей дискриминации со стороны властей, приспособившись к тоталитарному прессу советского режима, еврейские местечки были в итоге уничтожены педантичной, по-немецки тщательной машиной геноцида. Катастрофа покончила с ними как с отдельным явлением человеческой культуры, человеческого духа. Остались

городки и поселки – часто с теми же названиями, но с принципиально иным содержанием. Евреев, некогда составлявших если не большинство, то самую значительную часть их населения, больше нет. Их останки дотлевают в наспех забросанных землей рвах за околицей, их пепел еще витает в польском небе над Аушвицем, Трешлиной, Майданеком, Хелмно, Собибором, Белжецем и другими чудовищными жерлами адской преисподней.

Есть и другая, не менее важная причина того, что цикл завершается именно этой повестью: она выражает итог идейной эволюции автора, прошедшего длинный путь от юношеского максималистского «революционного» отрицания «пыльной и душной гробницы» еврейской Традиции до более зрелого осознания ее непреходящего, спасительного значения. Что привело Прейгерзона к этому выводу, от которого он не отказался уже до самого конца?

Тоска по глубине уникального хасидского взгляда на мир, по философской сокровищнице мудрецов Талмуда, по сочинениям и духовным открытиям Рамбама, Раши, Рашби, Святого Ари, Бешта, Алтер Ребе, рабби Нахмана и других столпов еврейской религиозной мысли? Потрясение при виде ужасных последствий Катастрофы? Разочарование в Ассимиляции, приведшей не столько к интеграции евреев в «единой семье советских народов», сколько к новому подъему антисемитизма? Все это вместе?

Действие повести «Шаддай» открывается типичной для Прейгерзона обыденной сценой – семейным обедом в местечке. За столом пожилые родители – Гершон Моисеевич Лурье и его жена Бася, а также их взрослая замужняя дочь Мира и, наконец, Ниночка – горячо любимая четырехлетняя внучка.

Мира приехала сюда на летний отдых с дочерью Ниночкой. А так-то она живет в Киеве, муж работает там инженером в строительном тресте. После того, как разразилась война, она какое-то время колебалась, переписывалась с мужем, решала, как поступить: вернуться в город?.. остаться в местечке? Но переписка быстро оборвалась, потому что мужа забрали в армию. Это определило выбор женщины – остаться с пожилыми родителями, тем более, что Лурье намеревался эвакуировать семью на восток. Но немцы наступали быстрее, чем велись приготовления к отъезду. Когда Бася объявила наконец о готовности, пришли известия о том, что враг перекрыл единственную дорогу.

(здесь и далее из рассказа «Шаддай»)

Все это очень и очень типично и, опять же, обыденно. Примерно ясно и расположение этого безымянного местечка из упомянутых в тексте окрестных городов. Полтава, Прилуки, Ромны, Конотоп... (тот самый Конотоп, в районе которого едва не застряла семья самого автора) – всё это хорошо знакомый Прейгерзону район Черниговской, Сумской и Полтавской областей. А значит, местечко вполне может зваться Гадячем или Кролевцом – второй родиной писателя и его жены. В обоих городах, кстати, есть и трижды упомянутая в повести улица Коцюбинского, где расположен описываемый дом. Впрочем, улиц с таким названием в Украине сотни...

Хозяин, как обычно, сидит во главе стола. Его жена Бася «как обычно, хлопчет с горшками и тарелками. Наварила, как на праздник: на столе и рыба, и

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

суп, и тушеное мясо, и фрукты». Всё «как обычно»... – вот только эта внешне совершенно обычная трапеза содержит чудовищный нечеловеческий подтекст: она последняя. Последняя трапеза в жизни сидящих за столом людей, включая ребенка.

Потому что...

... через два часа Гершону Лурье, его жене, дочери и маленькой внучке вместе с другими евреями местечка приказано прибыть к зданию полиции. Оттуда их отправят в соседний город, в еврейское гетто.

Те, кто не подчинятся этому указанию, будут расстреляны. Об этом предупредил вчера полицай – немолодой дядька, зачитывавший приказ властей с выражением некоторой отстраненности на лице: мол, это всё немцы и бургомистр, а он, полицай, тут вовсе не при чем.

Лурье прекрасно понял значение приказа. Все эти разговоры о гетто – для отвода глаз. Евреев отправят прямиком на смерть, как это было в Прилуках, Ромнах, Полтаве и Конотопе. Согласно рассказам беженцев, там немцы тоже действовали обманом, не раскрывая своих намерений до самого последнего момента.

Тем не менее, весь вчерашний день люди собирались в дорогу, увязывали вещи. Поди знай – а вдруг и вправду что-то понадобится... Потому что надежда жива, пока сам человек жив, пока не поставили его на краю рва перед пулеметами. И вот все собрано, прошла и бессонная ночь, мрачное утро позевывает за окном.

Тут-то и вспоминает Гершон Моисеевич о семейной реликвии – старинном талисмানে, передаваемом в его роду от отца к сыну. Конечно, он, обычный советский служащий, казначей местного кооператива, в принципе не верит в подобные амулеты, но в такое утро поневоле потянешься куда угодно, лишь бы не думать о предстоящем.

Этот талисман с незапамятных времен переходит в семье из поколения в поколение. Семейная легенда гласит, что он изготовлен руками великого раввина Ицхака Лурии, именуемого еще Святым Ари¹. Что, прежде чем взять в руки перо и пергамент, Святой Ари многие дни постился, и вчитывался в старинные свитки, и вставал на молитву, и размышлял о значении букв, претворяя их в числа, и высчитывал значение чисел, возвращая их в буквы. И лишь потом, спустя несколько месяцев, великий рав Ицхак Лурия начертал эти буквы на клочке пергамента, вдохнув в них неизбывную силу Святого Имени, искру Его немеркнущего огня.

...Лурье вынимает святую вещь из ящичка, разворачивает тряпицу, в которую она завернута, и кладет перед собой. Вот он, пожелтевший кусочек пергамента, вложенный в позолоченную ладанку с тонкой цепочкой, чтобы можно было повесить на шею. На пергаменте – короткое слово «Ш-д-й», Шаддай,

¹ Святой Ари – рабби Ицхак Лурия Ашкенази (1534-1572), выдающийся раввин, законоучитель и каббалист, создатель школы Лурианской каббалы.

Меж трех миров

обозначающее одно из Имен Всевышнего, и еще четыре отдельно стоящие буквы: йуд, алеф, вав и снова алеф. И каждую букву венчает корона, а вокруг рассыпаны неведомые значки, линии и стрелки, также начертанные рукой великого знатока и учителя Каббалы, святого раввина Ицхака Лурии. Здесь, видимо, и заключена та самая искра того самого огня...

Гершон Моисеевич, казначей местного кооператива, с сомнением глядит на талисман. Он уже давно отошел от религии. Ест трюфное, работает по субботам и праздникам, не чтит пост Судного дня. Что ему в этом клочке пергамента? ...В жизни советского ответственного работника нет места талисманам и амулетам. Эта вещичка всплыла из глубин прошлого лишь сейчас, перед лицом войны и гибели. Лишь тогда, когда текут слезы по щекам сирот, когда растоптана жизнь и попрана справедливость, когда смерть отплясывает свои сатанинские пляски – лишь тогда возникает нужда в талисмани, лишь тогда ищут его в дальних углах нижнего ящика комода...

Итак, талисман, хранимый и передаваемый из поколения в поколение – даже тогда, когда в него не верят, когда не понимают самого смысла хранения. Талисман, в качестве последней смутной надежды на спасение доставаемый «из дальнего угла» в моменты крайнего ужаса и безысходности. Что это, если не олицетворение Традиции – ведь точно то же самое можно сказать и о ней...

Дом, в котором происходит прощальная трапеза, не принадлежит Лурье – они с Басей вот уже больше двадцати лет снимают здесь квартиру у бездетной вдовы Натальи Гавриловны. «Больше двадцати лет» – значит, приехали сюда в 1919-1920 годах или немного раньше. Значит, беженцы Гражданской, а может, и Первой мировой войны. Беженцы откуда? Видимо, как и многие другие евреи (в том числе, Прейгерзон и семья его жены), убежали из какого-нибудь разоренного галицийского или волынского местечка, спасаясь от тамошних жесточайших погромов. Не то чтобы между Черниговом и Полтавой не происходило тогда вовсе ничего подобного, но все-таки не в такой степени. А уж если осели здесь так надолго, значит, и возвращаться было особо некуда: на родном месте не осталось ничего, кроме пепелища и страшных воспоминаний.

Отношения между жильцами и хозяйкой самые дружеские, почти семейные, а уж в маленькой Ниночке Наталья Гавриловна и вовсе души не чает. Зайдя попрощаться, она делает обреченным евреям предложение, от которого трудно отказаться.

– Мне так жаль, что вы уезжаете, – говорит она. – Только не надо отчаиваться, все будет хорошо.

– Да мы-то не отчаиваемся, – усмехается Бася, убирая со стола. – Это миру мы надоели.

Такая она, Бася, жена Гершона Лурье, – никогда не теряет душевного равновесия.

– Немец тоже не вечен, – продолжает Наталья Гавриловна. – Бог даст, поубиваем их всех. Тогда и вернетесь.

– Оттуда, куда мы идем, не возвращаются, – тихо возражает Мира.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Гавриловна протестующе машет обеими руками.

– Не грехи, дочка, накликаешь беду! – она умолкает на секунду-другую и затем шепчет: – Я вот к чему веду: Ниночку оставьте мне.

– Что?!

– Да, – твердо кивает хозяйка, – оставьте ее здесь. Как дочка мне будет. Вдвоем будем ждать вашего возвращения.

...

– Решено, – подводит итог Гершон Моисеевич, – оставляем Ниночку у Натальи Гавриловны. Бог даст, выживет...

Бася качает головой: насколько она помнит, глава семейства уже много лет обходится без упоминания Бога. А тут вдруг – «Бог даст»...

– Правильно, – говорит она. – Оставляем.

Лурье снова вытаскивает из жилетного кармашка своего Мозера¹:

– Нужно идти.

...Старики натягивают пальто, берут вещи. Каждому разрешено взять по одному заплечному мешку и одному чемодану.

– Погодите! – вдруг вспоминает Лурье и поспешно направляется в спальню.

Нужно торопиться – они и так уже опаздывают на пять, а то и на целых десять минут... Гершон Моисеевич возвращается в горницу, в руке его талисман Святого Ари. Старик наклоняется к Ниночке и вешает ладанку ей на шею.

Семья уходит на площадь, в небытие, а девочка остается с Натальей Гавриловной. Какое-то время хозяйка прячет ее под кроватью, но в местечке, где все всё про всех знают, такое не может продолжаться долго. Брат Натальи Гавриловны обнаруживает Ниночку и тащит ее в комендатуру. Там происходит дознание: немецкий офицер хочет удостовериться, что перед ним еврейка, а не армянка, как утверждает Наталья Гавриловна. Заметив на шее девочки ладанку, а в ней – кусок пергамента со странными знаками, немец приказывает привести из тюремного подвала единственного доступного ему в данный момент «эксперта», который может прояснить происхождение этих букв. Еврей по фамилии Йоффе ожидает там ближайшего расстрела (убивать людей поодиночке слишком хлопотно, и в комендатуре предпочитают ждать, пока накопится группа достаточного размера).

Проходит несколько томительных минут, и солдат вводит в комнату избитого мужчину лет сорока с седой бородой и еврейским носом.

– Скажи-ка, юде, – обращается к нему заместитель коменданта, – ты ведь читаешь на своем еврейском языке?

– Читаю.

– Ну, если так, то прочти мне вот это.

Еврей кладет на ладонь пергамент – перед ним знакомое слово – шин, далет, йуд... и еще четыре буквы... короны, и стрелки, и значки, и частица огня посерединке. Шаддай! Всемогущий Создатель, Властелин мира... Он хочет так и

¹ Мозер (здесь) – карманные часы швейцарской фирмы «Генри Мозер и Ко».

Меж трех миров

ответить немцу, но губы его сами собой, помимо воли, произносят совершенно другие слова.

– Я бы прочитал, но это не иврит, господин офицер, – говорит еврей по фамилии Йоффе. – Похоже на армянский, этот язык мне немного знаком.

Фогель наклоняется и снова внимательно всматривается в глаза стоящей перед ним девочки. В их непроницаемой глубине виден прежде всего испуг, но и еще что-то... то ли тень, то ли огонек... Черт ее знает. Возможно, он ошибся. Возможно, она действительно армянка. Не слишком приятно убивать малых детей. Немец жмет на кнопку звонка.

– На что вы тратите мое время? – сердито выговаривает он вошедшему помощнику. – Она армянка! Гоните эту старую дуру домой вместе с девчонкой!

На следующее утро Наталья Гавриловна увозит спасенную девочку в дальнюю деревню к хорошим знакомым – Бог даст, там Ниночка будет в большей безопасности.

Тут мы их и покинем: ведь рассказ этот не о Ниночке и ее семье и не о Наталье Гавриловне и ее брате. Рассказ – о талисмани, сотворенном рукой Святого Ари, великого рабби Ицхака Лурии, знатока и учителя Каббалы. И поскольку остался этот кусочек пергамента в руке, а затем в кармане еврея по имени Авраам Бен-Шауль Йоффе, то к нему и обратим мы сейчас свои взгляды. Да-да, в кармане, куда Йоффе положил талисман после того, как ответил на вопрос заместителя коменданта Фогеля.

Йоффе находился в местечке вот уже две недели, а до этого жил в городе Прилуки. Пятнадцатого ноября, в день большой ликвидации, он стоял вместе с другими сынами и дочерями своего народа на краю расстрельного рва. Пуля попала ему в правое плечо, и Йоффе упал в общую могилу, в месиво кровавой грязи, земли и мертвых тел. Под утро ему удалось выбраться наружу.

...Он намеревался найти в лесу партизан и примкнуть к их отряду. Но получилось иначе: недалеко от нашего местечка беглеца заметили полиция и после недолгой погони привезли в желтое здание комендатуры. Там, в подвале гестапо, и дожидался Авраам Бен-Шауль Йоффе своей второй ликвидации.

Авраама Йоффе расстреливают вторично, и снова ему удастся спастись:

Тридцать семь человек встали в один ряд у края открытой могилы, вырытой загодя за окраиной местечка. Но сначала всем приказали раздеться и снять обувь.

...Вместе с другими обреченными стоял там и Авраам Йоффе. Раздеваясь, он случайно нащупал в кармане кусочек пергамента и зажал его в кулаке. Потом послышался гром автоматных очередей, и Йоффе упал в ров. Он упал первым, на долю секунды раньше, чем прилетели предназначенные для него пули. Честно говоря, непонятно, как это получилось. А может, и понятно – в конце концов, Йоффе уже не был новичком в профессии казнимого.

...

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

И снова открыли ему дверь в доме школьного учителя Иванчука, и снова он упал без сил на пороге, и снова врачевала его раны Таня, дочь учителя, сестра милосердия – врачевала и утешала мягким украинским говором. Она смазала целительной мазью страшные ожоги на спине, дала беглецу отцовскую одежду, и уже на вторую ночь девушка-связная Глаша отвела его в лесной лагерь партизанской бригады в окрестностях Веприка.

Что ж, эти детали, похоже, могут разрешить последние сомнения относительно идентификации местечка: речь идет о Гадяче, поблизости от которого (примерно в пятнадцати километрах) и расположена деревня Веприк. А известный в Гадяче учитель Иванчук и его дочь Таня, а также девушка-связная Глаша из Вельбовки переехали в повесть прямоком со страниц романа «Когда погаснет лампада».

Прошло четыре года с того дня – и вот Авраам Бен-Шауль Йоффе сидит в моей комнате, рядом с моим письменным столом. На груди его блестят два боевых ордена – Красной Звезды и Богдана Хмельницкого.

– А какова судьба талисмана, Абрам Шаулович? – спрашиваю я.

Он молча отвинчивает с пиджака орден Богдана Хмельницкого и кладет его на стол передо мной. И я вижу – в лунке с тыльной стороны впаяна маленькая жестяная коробочка и догадываюсь: талисман там!

Вот ведь ирония судьбы: святой пергамент, символ древней еврейской традиции, прячется за орденом имени Хмельницкого – одного из самых безжалостных палачей и убийц, с какими пришлось столкнуться евреям за всю многовековую историю! И это тоже, без сомнения, символ, важный для понимания смысла этой непростой повести...

Большой роман

Выше уже отмечалось, что два счастливых летних периода 1938-го, а затем и 1939 года, проведенные в полтавском городке Гадяч, стали для Прейгерзона основой будущего литературного замысла – первого после длительного перерыва. Но тогда, скорее всего, он не мог предположить, насколько серьезной окажется эта основа. Зато после начала войны, уже в Караганде, когда с захваченной фашистами европейской территории России стали приходить ужасные вести о систематическом уничтожении евреев, картина мирного предвоенного бытия украинского местечка обрела дополнительный смысл, как один из полюсов вечного противостояния жизни и смерти.

А еще позже, после того как понемногу прояснились масштабы произошедшей трагедии, те безмятежные годы и вовсе впору было назвать последней лебединой песней ушедшей на дно истории хасидской Атлантиды. Всё это, без сомнения, должно было оказать непосредственное влияние на выбор писателя.

Прежде всего, это был выбор: писать или не писать? Взять на себя огромный риск быть обнаруженным, попасть под каток ГУЛАГа, навлечь беду на семью – или по-прежнему молчать, по-прежнему жить пригнувшись, в надежде, что тебя и дальше не загребут стальные зубья террора. Здесь уже не раз говорилось об сознании личной ответственности как о самом, пожалуй, определяющем качестве характера Прейгерзона. Поэтому выбор здесь был особенно труден. Какую именно ответственность предпочесть: перед семьей или перед долгом летописца?

«Если не я, то кто же?» Прейгерзон выбрал второе – долг летописца. Выбрал с нелегким сердцем, дав себе и жене слово соблюдать максимальную осторожность.

Другой выбор был чисто литературного плана. Летопись последних лет местечка не могла ограничиться коротким рассказом или даже пространной повестью. Масштаб событий и размер несчастья диктовал иную, романную форму. Вернее, форму «большого европейского романа».

Этот жанр хорошо знаком любому читателю: роман-эпопея, где судьбы персонажей вплетены в широкую картину реальных исторических событий, где страница к странице рядом с камерными диалогами и тонкой психологической прорисовкой индивидуальных характеров маршируют многотысячные армии, гремят социальные бури и низвергаются империи.

Основу этого жанра составили классические тексты Вальтера Скотта, Стендаля, Гюго, Бальзака, Диккенса и других видных писателей первой половины XIX века. При этом соотношение индивидуального и общеисторического определялось культурными предпочтениями авторов, их личными вкусами, политическими взглядами и литературными амбициями. В России, где всегда любили поговорить о «народе», «народной стихии» и «народном характере», этот жанр был, что называется, обречен на успех, причем с явным, временами гипертрофированным сдвигом в сторону глобальной его составляющей.

«Исторического» в «большом» русском романе всегда существенно больше, чем личного, индивидуального. Возможно, поэтому эпический роман «Война и Мир» Льва Толстого сыграл столь значительную роль именно в русской литературе – ведь соотечественников Диккенса и Гюго куда больше занимали движения души Дэвида Копперфильда и Жана Вальжана, нежели движение «народных масс».

В итоге, эпопея «Война и Мир» практически сразу превратилась в образец русского «большого» романа – именно она, а не тексты Гоголя, Достоевского, Тургенева, Гончарова, Лескова и других весьма достойных кандидатов. Роман Льва Толстого стал общепринятым мериллом жанра и вызвал к жизни множество повторений: достаточно вспомнить такие примеры, как «Хождение по мукам» А. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Жизнь и Судьба» В. Гроссмана и совсем уже мегаломанский, а потому расползающийся, невзирая ни на какие узлы, гиперпроект А. Солженицына «Красное колесо».

Нечто подобное замыслил и Цви Прейгерзон. Структура толстовского романа подходила ему идеальным образом. Да, предмет этой эпопеи не распространялся на российское общество в целом, а охватывал относительно

невеликий его фрагмент: типичное еврейское местечко в промежутке между погромами Гражданской войны и расстрельными рвами Катастрофы.

«Миром» романа, его первой композиционной частью становится традиционный хасидский городок Гадяч недалеко от Полтавы; его постепенно затухающий, исчезающий, меркнущий еврейский быт; его колоритные старики, поневоле сменившие ремесло шохетов¹, бодеков² и габаев³ на членство в советских кооперативах; его молодежь, устремившаяся на учебу в большие города и столицы.

А вслед за этим наступает «Война», вторая часть эпопеи: окончательное уничтожение этого мира руками немецких нацистов и их добровольных помощников, партизанское движение в полтавских лесах, отчаянные попытки обреченных людей выжить среди плясок торжествующей смерти.

Кому-то эта картина может показаться недостаточно широкой. Но Прейгерзон, как мы помним, с самого начала ограничивался ролью летописца, фиксирующего только то, что видел своими глазами, получил из первых рук, услышал от непосредственных участников событий. В отличие от Толстого и Гроссмана, он не претендует ни на точное знание самочувствия Наполеона, ни на реконструкцию гипотетических диалогов в Ставке Верховного Главнокомандующего. Этот писатель всегда был подчеркнуто скромнен и остался таковым в своем главном эпическом тексте. Возможно, поэтому читателя от первой до последней страницы романа не покидает устойчивое ощущение достоверности.

Да и не так уж мал и ничтожен описываемый в романе мир. Сколько их было, таких местечек, на просторах Волыни и Галиции, Буковины и Бессарабии, Подолии и Левобережья, областей Полесья и Прибалтики? Сколько детей, женщин и стариков легли под тонкий слой украинской и белорусской земли, шевелящейся от агонии умирающих, сколько невинных душ вылетели в польское небо из труб немецких крематориев? Тысячи мест, миллионы мертвецов. Как ни посмотри – хоть числом, хоть охватом – сгинувший мир черты оседлости бывшей российской империи никак не меньше миров толстовского дворянского света, гроссмановской советской интеллигенции, шолоховского донского казачества...

Поэтому Прейгерзон сделал еще один сознательный выбор, заведомо сосредоточившись почти исключительно на выбранной теме и не расплываясь на сопутствующие обстоятельства. За рамками рассмотрения остаются такие традиционно «советские» (и «антисоветские») темы, как коллективизация и стройки коммунизма, сталинские репрессии и Голодомор, всепроникающая пропаганда и тоталитарный соцлагерный режим. В романе слышатся лишь дальние отголоски этих глобальных бурь. Автор словно помещает нас внутрь кокона, отдельного пространства, существующего как бы самостоятельно, приспособиваясь к окружающему миру, но по возможности минимизируя свои с ним контакты.

¹ Шохет (шойхет, резник) – член еврейской общины, отвечающий за кошерный (то есть правильный, соответствующий установлениям религии) забой скота и птицы.

² Бодек – член еврейской общины, проверяющий соответствие чего-либо (например, общественной кухни или столовой) правилам кашрута.

³ Габай – член еврейской общины, ведающий сбором денег и организационными делами.

Следствием этого далеко не очевидного приема становится неожиданный эффект, отмечаемый многими читателями романа: он буквально завораживает, затягивает в свою внешне безыскусную, но такую живую и манящую материю.

Конечно, писатель прекрасно сознавал преемственность своего творения относительно толстовского образца. «Война и Мир» упоминается в тексте не раз и не два, причем в явной, непосредственной форме. У профессора Эйдельмана «особенная страсть к Толстому»; на чердаке дома, где прячется Вениамин, оказывается томик толстовской эпопеи; между страницами «Войны и Мира» прячет свой паспорт обреченный Степан Борисович; девушка с льняными волосами у края дороги «смотрит, как испокон веков смотрели ее матери и бабки, смотрели на мир и на войну, на своих и врагов», а одержимый чтением подросток Ехезкель Левитин «уже читал и Толстого, и Шекспира».

В чем видел Прейгерзон смысл этого настойчивого уподобления? Скорее всего, в сопоставимом масштабе описываемых событий. Теплый мир семьи, дома, общины, раздавленный тяжестью тектонических плит истории, безжалостной войной, хладнокровным душегубством. Погасшая лампада в гробнице хасидского цадика на старом кладбище уничтоженного еврейского местечка. И – новый мир, сильными побегами прорастающий из-под обломков. Как мы помним, первые главы этого романа Цви Прейгерзон вписывал между строк толстого тома «Капитала». Вот уж действительно, нарочно не придумаешь: главы романа об ашкеназском местечке, написанные на сефардском иврите в жанре толстовской эпопеи меж строк коммунистической библии...

Завершенная уже после войны и шестилетней каторги в гулаговских лагерях Караганды, Инты, Абези и Воркуты, рукопись романа «Когда погаснет лампада» была тайно передана в Израиль и напечатана здесь в 1966 году под псевдонимом А. Цфони и под названием «Вечный огонь». Учитывая обстоятельства ее создания, можно без особой опасности преувеличения сказать, что речь идет о поистине уникальном тексте, замечательном явлении человеческого духа.

На берегах Псёла

Главный персонаж романа носит все то же знаковое имя Вениамин / Биньямин (на иврите написание этих имен одинаково). Молодость Биньямина Четвертого прилась на Гражданскую войну; Вениамин Пятый представляет следующее поколение свидетелей – в 1938 году этому студенту одного из московских технических вузов исполнилось 23 года. Его мать Сара Самуиловна живет в Харькове, в семье своего старшего сына – заводского инженера (в точности, кстати говоря, как и мама самого Цви Прейгерзона).

Провести лето в полтавском городке Гадяче Вениамина подбивает его друг и сосед по институтской общаге. Друга зовут Соломон Фейгин; он родился в Гадяче, там прошло его детство, там до сих пор проживают его пожилые родители Песя и Хаим-Яков, а также старшая сестра, красавица Рахель и ее девятилетняя дочка Тамарка. Летом 1938 года Вениамин снимает комнату в деревне Вельбовка, расположенной в пяти километрах от местечка, а на следующий год, поближе

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

узнав и полюбив Фейгиных, останавливается уже непосредственно в их гостеприимном доме.

Каким предстает его глазам местечко, отпетое и похороненное, а то и просто сплавленное в небытие вместе с грязными зимними льдинами по версии Биньямина Четвертого?

Выясняется, что оно и не думало умирать! Городской пляж полон купальщиков:

Весь день царит тут веселая кутерьма. Одни разлеглись на солнцепеке и знай себе поворачиваются с боку на бок. То лягут ничком, а то и на спину, раскинув руки, как будто собрались заключить в свои объятия весь мир. Другие плавают в реке. Прыгают в воде макушки буйков, то пропадая из виду, то выныривая снова, но осторожные пловцы не рискуют отплывать далеко от берега. Они шумят на весь белый свет и колотят по воде руками и ногами, так что во все стороны летят серебряные брызги.

... Вот к берегу направляется несколько сорванцов – всего два-три школьника. Серые глаза, короткая стрижка. Как они поведут себя? До края воды остается еще немало шагов, но штаны их уже в руках, а не на бедрах. Еще мгновение – и рубашки тоже брошены на раскаленный песок. Раз, два... – в воздухе мелькают загорелые тела, и вот уже вся команда в воде! Никто из них не нащупывает ногой дно; каждый – опытный пловец, как оно и положено в его компании. А что тем временем делают девчонки? Они часами сидят на берегу, играя в песок. На головах у них круглые панамы, чтобы, не дай Бог, не схлопотать солнечный удар. Они роют туннели и каналы, лепят из песка булочки, пироги и прочую выпечку и отдаются этой чепухе со всем пылом своей души. Когда же вы собираетесь купаться, девицы-красавицы?

... Дремлет горячий песок под августовским солнцем, гудит на берегу толпа детей и женщин; есть там и несколько мужчин. На лугу напротив пасется стадо. (здесь и далее из романа «Когда погаснет лампада»)

Что и говорить – поистине пасторальная картина безмятежного счастья. Но это все-таки пляж – там сам Бог велел радоваться жизни. А что происходит в домах, на улицах, на рыночной площади?

Дом стоял на склоне холма, в тенистом от садов переулке, всего в полукилометре от реки. И снова потянулись прекрасные дни, полные смеха и беззаботных радостей. Иногда по утрам Вениамин отправлялся на рынок, туда, где восседал под своим навесом старый Хаим-Яков Фейгин, нацеживая крестьянам прохладную медовуху. Выпьет мужик стакан и вздохнет с удовольствием, утирая рот рукавом. Суетится, бурлит рынок из конца в конец. Стоят бабы возле своих корзин, лузгают семечки, белеют ряды головных платков. Между ними неспешно расхаживают покупательницы еврейки, внимательнейшим образом разглядывая все, что выставлено на продажу: кур, яйца, богатый выбор овощей, молочные продукты и прочее великое изобилие прилавков.

Меж трех миров

Ходит среди них и Вениамин. Глаза его вбирают живописную коловерть рынка, уши внимают бойкой базарной суете. В тени сидят на земле слепцы, перед ними миска для подаваний. Стонут, жалуются в их руках старые бандуры, поют свои печальные песни.

Побродив по рынку, покупает Вениамин немного яблок или груш и поворачивает к конторе, где работает Рахель. Вот она, сидит у открытого окошка и щелкает на счетах. Проходит еще немного времени – и они уже жуют фрукты на скамейке близлежащего городского сада. То смеются, то замолкают, то подшучивают друг над другом.

За городом, на высоком берегу, справа от дороги на Вельбовку, расположено старое еврейское кладбище Гадяча. Это место знаменито гробницей великого учителя хасидизма, основателя движения ХАБАД, Старого Ребе (Алтер-ребе) Шнеура-Залмана из Ляд (1745-1812). По преданию, Старый Ребе скончался в дороге, убегая от наполеоновского нашествия (у него были реальные причины опасаться французов, поскольку с началом войны Шнеур-Залман призвал своих хасидов поддержать русского царя). Вот какую историю об этом слышит Вениамин из уст старой еврейки Эсфири, известной в местечке мастерицы по изготовлению традиционной яичной лапши:

В одной из деревень, называемой Пены, почувствовал он приближение смерти и возлег на смертном одре, отвернувшись лицом к стене, и не было с ним никого, кроме старого служки. Все его близкие стояли в тот час снаружи, обратив лица к небесам и читая псалмы. А дело было зимой, январь, конец месяца тевет, и мороз жуткий.

И когда вознеслась к небесам чистая душа ребе, послышался оттуда звук, похожий на стон – как видно, стон самого Господа, да будет благословен. И объят был народ из конца в конец страхом великим, смятением и паникой, криками и рыданием. И поднялся ужасный ветер, и вой, и свист, и принес он на крыльях своих столько снега, что все окрест покрылось толстым белым ковром – и люди, и мир.

В тот же день долетела горькая весть до ближних местечек, и устремились в деревню Пены люди со всех сторон, из городов Прилуки, Конотоп, Сумы и Ромны. И стали представители этих общин спорить за право похоронить ребе на своем кладбище. Вышел тогда старый служка к людям и сказал:

– Тихо, вы все! Перед тем, как отлетела душа святого ребе, произнес он одно и только одно слово. И слово это: Гадяч!

И тогда вынесли тело ребе из деревенского дома, уложили на сани, на мягкую солому и повезли в Гадяч. И народу, который шел за санями, все прибавлялось и прибавлялось, пока не стало много до необозримости. А когда сани проезжали через населенное место, то лавочники закрывали там свои лавки, ученики прекращали учебу в хедере, портной откладывал иголку, а сапожник шило, и все выходили провожать Старого Ребе. И повсюду, где проезжали сани, слышались скорбные молитвы и плач.

...

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

В час, когда отлетела душа Старого Ребе, вдруг вспыхнул и затеплился огонек на еврейском кладбище маленького городка Гадяч в королевском лесу на берегу реки Псёл. Бушевали вокруг ветра, и зима заваливала землю непроходимыми сугробами, но ничто не могло погасить этого малого язычка пламени – нет, казалось, на земле такой силы.

Говорили, что была это искра Негасимого огня Бесконечности, которая спустилась на землю, дабы отметить и освятить могилу Старого Ребе. Когда опустили тело ребе в могилу, завершив тем самым его земную судьбу, с неба ударил гром. Разверзлась земля, и образовалась в ней глубокая пещера от могилы до речного откоса. И ужасный крик поднялся на кладбище, и многие в панике бросились бежать, решив, что настал конец света.

Потом поставили шатер над святой могилой, окружили его стеной, которая стоит до сих пор, и, взяв огонек, зажгли от него светильник, светильник Негасимого огня.

И говорится среди хасидов ХАБАДа, что должен гореть этот светильник во веки веков, поскольку теплится в нем душа народа. А в день, когда все же погаснет огонь, явятся в мир ужасные беды и горести народу Израиля, и зло, не виданное прежде; и тьма скорпионов придет на тело народа сего, и не спасутся ищущие спасения.

И по этой причине с тех самых пор и по сегодняшний день тщательно следят хасиды за тем, чтобы всегда горел светильник на могиле Старого Ребе.

Светильник горит в гробнице и в момент действия романа. Вплотную к гробнице Шнеура-Залмана построен штибль – небольшое молитвенное помещение, где постоянно сидит над книгой кладбищенский габай Аарон Гинцбург – странный чернявый еврей с непонятным прошлым, пришедший в Гадяч неизвестно откуда и осевший здесь. У габая десятеро детей – шестеро от первой жены и четверо от второй (овдовев, он взял в жены младшую сестру умершей).

Разорен синагогальный ковчег, нет на нем расшитой золотом занавески, бедны корешки молитвенников и святых книг, грудями наваленных в углу, убого выглядят свитки Торы, лежащие свернутыми на длинной скамье. Неужели так было всегда? Разве полвека назад царило тут подобное запустение? Нет, в те времена кипела жизнь вокруг усыпальницы святого ребе, стекались сюда хасиды со всех концов света – с Украины, из Польши, из Литвы, а по субботам и праздникам далеко разносилось печальное пение хазана¹. Через открытые окна штибеля слышались вздохи качающихся над могилами деревьев, и молчал великим своим молчанием Старый Ребе в соседнем шатре.

А в будние дни в штибль к сидящему там службе сходились жены Израиля, и он писал им записки на иврите с идишем пополам. И были те записки переполнены слезами больных и калек, стонами сирот и покинутых, плачем вдов и скорбящих. А потом женщины разувались и входили в шатер, к святой могиле.

¹ Хазан (кантор) – человек, исполняющий (поющий) традиционные религиозные тексты во время общей молитвы в синагоге.

Меж трех миров

Великая тишь царила там. На маленьком столике в углу горел светильник. Летом и зимой, днем и ночью в течение одного и еще четверти века горел он, не угасая ни разу. Этого скромного света едва хватало на малую часть мира, но в этой малой части трепетала душа многих поколений евреев еще со времен Наполеона.

А сейчас одиноко сидит в штибле Аарон Гинцбург, кладбищенский габай, сидит, листает книгу. Мертвая тишина в комнате, никто не приходит, никто не пишет записок, никто не выплескивает горестей своего сердца на святой могиле. Лишь светильник по-прежнему освещает все ту же малую часть мира. За светильник отвечает Аарон Гинцбург – чтоб не погас, чтоб не иссяк свет его огня.

По вечерам к Хаиму-Якову Фейгину приходят старики. Евреев в Гадяче осталось не так много – не более пятисот, все остальные разъехались: молодежь на учебу, старики – за молодыми. Но те, кто остались, по-прежнему собираются на такие вот посиделки. Прейгерзон описывает стариков без тени прошлой горечи – напротив, с симпатией, почти с нежностью.

Все тут бородаты, но борода Берла Левитина самая длинная. Происходит этот бородач из городка Короп Черниговской губернии. У него пятеро сыновей и дочка, и теперь проживает Берл вместе с нею и двумя старшими в Харькове. Один из старших сыновей выучился на адвоката, второй заведует складом тканей крупного универмага, а замужняя дочка – врач. А вот у младшего сына, Йехезкеля, как-то не задалось, и он живет в Гадяче, работает на мельнице. Старики, Берл и его жена Хая, приезжают к сыну на летние месяцы, снимают комнату в городе или в Вельбовке. Старая Хая – крупная специалистка по кушаньям, в чем Вениамин убеждается всякий раз, когда заходит в гости к Левитиным.

... А сколько лет реб Довиду, слепому на один глаз еврею-резнику? Уж никак не меньше восьмидесяти. Дом резника стоит здесь же, в переулке, и Вениамин каждое утро видит в окно, как тот вышагивает своей нетвердой походкой, с палкой в руке, но с прямой, все еще не сгорбленной спиной. И в самом деле, невзирая на все невзгоды, на детей, что разъехались, бросив его в одиночестве, как какого-нибудь бездетного вдовца, по-прежнему бодрится старый реб Довид, не дрожат его колени.

– Есть еще у нас Бог на небесах! – любит повторять старый резник.

И пускай крутится колесо времени, пусть мелькают дни, пусть неудержимо ползет цепь уходящих лет, и с каждым годом все больше и больше тяжелеет мешок прошлого за плечами, – веселей глядите, босяки! Есть еще у нас Бог на небесах!

Здесь же сидит и уже упомянутый кладбищенский габай Аарон Гинцбург – бледный, молчаливый, с горящими глазами. Но, пожалуй, колоритней всех хозяин дома – неунывающий Хаим-Яков Фейгин, типичный еврейский гений выживания, приспособления к постоянно меняющимся обстоятельствам. Многие страницы романы посвящены описанию его одиссеи по непостоянному и опасному морю советских правил и установлений.

Хаим-Яков

До Советской власти Фейгин исполнял обязанности *шуба* (*шойхет-ве-бодек* – резник и проверяющий кашрута) и *моэля* (совершающий обрезание), получая от общины за эту работу сорок рублей – большие деньги по тем временам.

В те дни такая важная персона, как он, обязан был жить на широкую ногу. Во-первых, расходы на семью – жену и детей, чтоб они были здоровы. Во-вторых, дом, достаточно просторный для приема гостей, которые у Фейгиных, слава Богу, не переводились. Тогда ведь съезжались в Гадяч хасиды со всех концов земли к гробнице Старого Ребе. Съезжались сотнями и тысячами: этот помолиться, тот – испросить помощи, третий – поделиться горем. А у кого прежде всего остановится хасид, приехав в город Гадяч? Конечно, у резника!

И Хаим-Яков беспрекословно исполнял святую обязанность приема гостей. В большущей комнате стояли, чтоб не сглазить, целых десять кроватей! Настоящая гостиница. А ведь каждому еврею нужно было еще и полотенце умыться, и еда поесть. И потому наняли Фейгины деревенскую бабу для содержания собственной коровы. Потому что, хотя еврей не откажется от куска кошерного мяса, главной его пищей была и остается молочная: стакан сметаны да немного маслица. А есть и такие, у которых с животом не все в порядке, не о вас будь сказано, – так этим и вовсе только кислое молоко подавай. И, слава Богу, в фейгинском подвале всегда стояли в то время полные кувшины с кислым молоком – каждому проголодавшемуся!

Кроме этого, были у Фейгина и дополнительные источники дохода. С каждой зарезанной скотины полагалось оставлять резнику *кишкес* (внутренности) или два килограмма хорошего мяса. А благодаря превосходной репутации в качестве моэля, Хаима-Якова приглашали делать обрезание из самых далеких мест – вплоть до Конотопа!

Ремеслом моэля занимается Фейгин до сих пор, и несть числа сынам Израиля, которых он приобщил к бриту¹, к союзу праотца нашего Авраама со всемогущим Творцом. И ремесло это действительно приносит кое-какой доход, особенно, когда речь идет об «ишувниках» – богатых деревенских евреях. В таких случаях привозят моэля к месту праздничного события в роскошной коляске, запряженной парой прекрасных лошадей, а потом еще и угощают, и кормят, и поят до отвала. А на прощанье, вдобавок к рублям, дают ему с собой еще и полдюжины курочек, и сотню яичек, и другие подарки.

И наконец, свадьбы. Традиционно евреи стараются подгадать эти радостные дни к весеннему празднику Шавуот, так что в местечке играли одновременно несколько свадеб. Понятно, что единственный раввин Гадяча едва успевал совершить обряд для местечковых пар, а уж на тех, кто шел под хупу на хуторах

¹ Брит – обрезание крайней плоти у новорожденного младенца.

или в близлежащих деревнях (у так называемых *ишувников* – деревенских евреев), у него и вовсе не оставалось времени. Тут-то и наступало золотое время резника Фейгина.

Раввин в городе один – кто тогда освятит молодую пару в деревне? Как это кто – понятное дело, что он, Хаим-Яков, уважаемый резник! Эх, не знал настоящей радости тот, кто хоть раз не бывал на хупе в доме богатого «ишувника»! Особенно если он – из людей, известных своей еврейской ученостью!

«Реб Хаим-Яков, пожалуйста сюда... Реб Хаим-Яков, пожалуйста туда... Попробуйте того, обратите внимание на это...» – короче говоря, домой возвращаешься и сытым, и веселым, и таким хмельным, что Господи помилуй!

Увы, с установлением Советской власти все это роскошное изобилие пришлось отставить.

Когда община в силе, тогда и резник уважаемый человек. А если община растаяла? И потом – ну кто такой резник с точки зрения советской власти? Слуга религиозного культа, лишенец, отверженный в своей стране. Дети такого человека не могут поступить в институт, да и на государственную службу их не возьмут. А коли так, то что с ними будет?

...

...чтобы отказаться от ремесла резника и перестать быть лишенцем¹, Фейгин должен был известить о своем решении публично. И вот, скрепя сердце, послал он объявление в газету «Харьковский пролетарий»: *«Я, Фейгин, Хаим-Яков Айзекович, проживающий в городе Гадяче, настоящим извещаю, что отказываюсь от должности резника и не имею отныне ничего общего с исполнением религиозного культа».*

Казалось бы – полная катастрофа, конец изобилию? Как бы не так! Такое впечатление, что всё, к чему бы ни прикоснулись умные руки этого инициативного и талантливого еврея, превращается в золото. Хаим-Яков берется за приготовление изюмного вина и в течение короткого времени превращает подвал своего дома и хлев, где некогда стояла корова, в небольшой, но крайне доходный винодельческий бизнес. Дело происходит во время НЭПа².

Хаим-Яков наклоняется поближе к Вениамину и шепчет, будто кто-то здесь может их подслушать. В те дни он зарабатывал по три тысячи рублей в месяц, вот чтоб ему с места не сойти!

Чтобы не упустить удачу, ему пришлось озаботиться соответствующей организацией производства. Все семейство Фейгиных, засучив рукава, приступило к работе. В кухне выстроились батареи бочонков – десятками, один на другом.

¹ Лишенец – лицо, лишенное избирательных прав в Советской России 1918-1936 гг.

² НЭП – новая экономическая политика в Советской России, сменившая в 1921 году «военный коммунизм» и окончательно свернутая к 1928 году.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Работали днем и ночью: один мельчит изюм, другой отмеривает воду, тот отжимает, этот процеживает.

...Как тут не воздать хвалу Богу и изюмному вину? Карманы были полны денег, дом – полная чаша, да еще и несколько тысяч рублей отложены в сторонку на черный день, чтоб он никогда не настал.

Так и вертелось колесо удачи целых три года, пока не сломалось и не застопорило свой благословенный бег. Что ж, такова судьба, ничего не попишешь...

Судьба принимает облик нового фининспектора – еврея Нисанова (прежний, Сидоров, Фейгину симпатизировал и был одним из наиболее верных его клиентов). Хаиму-Якову удается увернуться от тюрьмы, но бизнес приходится свернуть... На этом рассказ не кончается; Прейгерзон обстоятельно и подробно описывает продолжение одиссеи непотопляемого мозля. Сначала тот пытается экспортировать свою продукцию в Ленинград, но его обманывают ушлые столичные жулики, и затея заканчивается оглушительным провалом. Затем, уловив момент и примазавшись к постановлению правительства об увеличении плодовой продукции, бывший резник удачно переходит с изюмного вина на плодовое. Когда же времена НЭПа подходят к концу, Хаим-Яков, не дожидаясь ареста и ссылки на Соловки, отправляется напрямиком в горисполком с предложением об организации советского кооператива.

И комиссия, обсудив вопрос, постановляет выделить на это дело бюджет и назначить Ефима Айзековича Фейгина директором новорожденного винзавода. Чьим директором и ответственным по сбыту он пребывает и по сей день, начальствуя, ни много ни мало, над пятью работниками.

Нет, ничуть не раскаялся Фейгин в своем решении работать на кооператив. Зарплата, слава Богу, неплоха, хотя, конечно, далека от доходов былых лет. Он снова вздыхает и какое-то время сидит молча. Кончен рассказ. Такова история жизни Хаима-Якова Фейгина, повесть побед его и поражений. Как падал он в глубокие ямы, из которых поди выберись живым. Как вслед за тем поворачивалось колесо судьбы, вспыхивал огонек в темноте, и снова поднимался Хаим-Яков на ноги, отряхивался и продолжал свой путь.

Без сомнения, в последней фразе заключен весь смысл «повести побед и поражений» Хаима-Якова Фейгина, а заодно и ответ на вопрос, как жило местечко все эти годы от войны до войны. Вот так и жило – сначала пробуя удержаться на прежних жизненных позициях, а затем отказываясь от них под давлением обстоятельств. Отказываясь, если надо, даже посредством письма в газету: мол, я больше не я, прошу отныне считать меня другим человеком... – число и подпись.

Жило, перенимая навязанную властью новую риторику, новый «революционный» стиль. С природной предприимчивостью прорывалось к быстрым нэповским деньгам, и так же быстро расставалось с ними при очередном зигзаге столичного законодательства. И, наконец, пристраивалось к той или иной оставленной властями нише – в кооперативе, в конторе, на рынке, в артели –

туда, где пока еще позволяли выживать и зарабатывать на жизнь, на семью, на дом, на детей, уехавших учиться в столичные институты. Падало, поднималось и продолжало свой путь.

Подняться местечку не удалось лишь после Катастрофы. Символично, что именно непотопляемый грессмейстер выживания Хаим-Яков Фейгин вместе с другими одиннадцатью евреями-стариками (всего двенадцать – символическое для евреев число!) будет расстрелян немцами спустя короткое время после оккупации местечка – еще до каких-либо акций, облав и прочих мероприятий планомерной ликвидации.

Степан, бывший Шимон

Композиционным антиподом старому еврею Хаиму-Якову Фейгину является в романе «русский» профессор Степан Борисович Эйдельман, приехавший в полтавские леса для поправления здоровья. Профессор с женой, дочерью Лидой и привезенной из Питера домработницей снимают дачу в Вельбовке. Даже на отдыхе Эйдельман занят работой – составлением нового вузовского учебника; Вениамин, пользуясь возможностью подхалтурить, берет у него заказы на изготовление чертежей и рисунков.

Степан Борисович – типичный представитель интеллигентного ассимилированного еврея, причем даже не в советском, а в еще более раннем, российском варианте.

Отец профессора, богатый киевский банкир, еврей от рождения, держал в свое время дом на широкую ногу. У ворот стоял швейцар в роскошном мундире, а внутри суетилась целая армия слуг и служанок, лакеев и кухарок, блюдолизов и прихлебателей. Своих отпрысков он воспитывал в аристократическом духе, так, чтобы, Боже упаси, не примешалось к их образованию ни одной еврейской капли. Степан – в те времена еще Семен – Борисович закончил реальную гимназию в Киеве, а затем крестился, от чего и произошла перемена имени. Прошел по конкурсу в Петербургский университет, а по окончании уехал в Соединенные Штаты Америки на трехлетнюю стажировку у Эллиса-Чалмерса¹ в городе Милуоки, штат Висконсин.

Вернувшись в Киев уже двадцатисемилетним мужчиной, он женился на младшей дочери Элиягу Бродера, знаменитого богача. Клара Ильинична, сублильная тоненькая девица из тех, кого называют высококультурными, брэнчала на фортепиано и говорила по-французски почти без тени еврейского акцента. В 1914 году Степан Борисович опубликовал важный научный труд, получил профессорское звание вкуче с соответствующей институтской должностью и осел в Петербурге. С тех самых пор, вот уже двадцать пять лет, он верой и правдой служил этому институту. В нем профессор пережил мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции, военный коммунизм, нэп, переходные годы и

¹ Эллис-Чалмерс (Allis-Chalmers Manufacturing Company) – одна из крупнейших американских машиностроительных корпораций.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

последующие пятилетки. Город, в котором он жил, сменил свое имя с Петербурга на Петроград, затем с Петрограда на Ленинград... – вот только климат его оставался прежним при всех именах. Влажность, дожди, туманы – плоха ленинградская погода для Степана Борисовича.

Уже в этом описании сквозит не слишком благоприятное отношение автора к профессору и его семье. Хаимом-Яковом Фейгиным, простым евреем из хасидского местечка, Прейгерзон откровенно любит; а вот полностью ассимилированные, не оставившие в себе «ни одной еврейской капли» столичные интеллигенты – «из тех, *кого называют* высококультурными» – не вызывают у писателя особой симпатии.

Зато его герою Вениамину очень нравится профессорская дочь. Жаль только, что вкусы у них совершенно разные. Лида занимается музыкой, она ученица знаменитой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной. А вот Вениамин предпочитает веселые хасидские песни в исполнении подвыпивших стариков – гостей Хаима-Якова. Сидя у Фейгиных, Лида чувствует себя не в своей тарелке – как, собственно, и Вениамин на веранде у Эйдельманов.

...это окружение кажется Лиде чужим. Бывает, что и в ленинградском доме Степана Борисовича собираются знакомые и друзья на ужин и на бокал вина. Легкая беседа, игра на пианино, иногда кто-то расскажет приятную историю... – все тихо, спокойно, вежливо, хотя временами эта церемонность и кажется скучноватой. Там, в Ленинграде, никто не говорит одновременно с другими. Что делает она, профессорская дочь, в доме Фейгина, где царит полный беспорядок, где все кричат и распевают дикие песни? Пьянство, пошлые анекдоты – короче говоря, бескультурье.

Степан Борисович любит порассуждать на всевозможные темы. При этом он частенько употребляет выражение «Мы, русские». Например, «нам, русским, есть еще чему поучиться у деловых людей Америки». Да и почему бы не употреблять, если в паспорте профессора Эйдельмана и членов его семьи в графе «национальность» написано именно это: русский, русская. Они и в самом деле русские – по крайней мере, официально, по документам. Поэтому, застряв в Вельбовке летом 1941-го, Степан Борисович не слишком опасается за свою судьбу:

Степан Борисович полагал, что хорошо разбирается в вопросах мирового устройства. Он был уверен, что даже в худшем случае, если враг захватит Гадяч, немцы не причинят никакого вреда ни ему, ни его семье. Да, ходили слухи, что нацисты уничтожают евреев, но в глубине души профессор не верил этому ни на грош. Возможно ли, что все вдруг превратились в людоедов? И даже если есть крупица правды в этих слухах, то какое отношение имеют преследуемые евреи к нему, Степану Борисовичу Эйдельману? Он записан в паспорте русским, и вся его семья тоже. Не станут же немцы трогать больных русских стариков...

Меж трех миров

После прихода немцев здоровье Эйдельмана ухудшается настолько, что он уже не встает с постели, и жена решает перевезти его из деревни поближе к докторам, в Гадяч. Туда-то, в городскую квартиру, и врываются немцы и полиция, собирающие евреев на городской площади для последующей акции.

– Юден? – спрашивает эсэсовец.

– Их зинд русен, – слабым голосом отвечает Степан Борисович.

Он хорошо говорит по-немецки и по-английски, а при необходимости может поддержать беседу и на французском.

Где паспорта? Профессор принимается шарить вокруг дрожащими руками. Ведь там написано черным по белому, что он русский. Где же они, Боже мой? Скорее, профессор, скорее! Голова Степана Борисовича кружится, он никак не может вспомнить, куда положил документы. Вдобавок ко всему, он не брился несколько дней и теперь выглядит еврей-евреем. Где же они, эти чертовы, эти спасительные паспорта? Нету, нигде нету! Что же делать? Вдруг его осеняет: конечно, он ведь положил их в томик Толстого, на тумбочке.

– Клара, – в панике кричит он, – передай мне Толстого! Быстрее!

Уфф... Слава Богу, паспорта на месте. Степан Борисович показывает эсэсовцам документы, сопровождая это обстоятельным объяснением. Он профессор из Ленинграда, находится здесь на лечении. Легочный туберкулез, постельный режим. Немцы смотрят на него и колеблются. Но тут находчивый полицейский сдергивает с профессора одеяло, задирает его рубаху и демонстрирует всему миру убедительный признак еврейства. Да, Степан Борисович родился в Киеве, в богатой образованной семье, но в те времена даже такие семьи не отказывались от брита, объясняя это, впрочем, соображениями гигиены.

Какой признак предпочесть? Сомнительную запись в сомнительном советском документе или несомненное свидетельство брита Авраама? Решение ясно: паспорта фальшивые. Снаружи беснуется начальник гестапо, требуя согнать на площадь как можно больше евреев. Надо торопиться вытащить их из нор.

– Встать! Быстро!

Профессора закидывают в кузов, туда же подсаживают и Клару Ильиничну. Она не возражает.

На площади Эйдельман делает еще одну попытку объяснить, что он тут ни при чем:

На прекрасном немецком языке он жалуется на ошибку людей, которые привезли его на площадь. Это просто неслыханно. Он никакой не еврей, он русский! Автор нескольких книг, которые снискали ему известность не только в России, но и за рубежом. Дома у них – у него и у жены – остались паспорта, где ясно написано...

Не в первый раз человек пытается отмежеваться от евреев; когда-то он уже проделал это посредством крещения. Сейчас его слова обращены к ближайшему эсэсовцу. Это бледноватый немец в черном мундире, украшенном

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

металлическими черепами; на носу у него очки, придающие зверю обманчивый человеческий облик. Степан Борисович говорит, не переставая, убеждает, доказывает; очки на носу гестаповца вселяют в него надежду.

– Прикажи ему снять штаны! – советует очкастому другой эсэсовец, из тех, что привезли Эйдельманов на площадь и посвящены в преступную тайну профессора.

В этот момент на Степана Борисовича нападает очередной приступ кашля. Пока профессор содрогается, лежа на земле, очкастый немец грубо стягивает с него штаны и являет на обозрение всей площади сморщенные гениталии старика, обрезанные по всем правилам брита Авраама. Эсэсовцы и полицаи раздражаются хохотом. Смех и скабрзные шутки летят над площадью. Степан Борисович корчится от кашля, последние силы оставляют его. На время старик умолкает; Клара Ильинична, склонившись над мужем, что-то шепчет ему на ухо – не то утешает, не то уговаривает.

Клара Ильинична погибнет первой, еще до того, как колонна обреченных на смерть доберется до расстрельного рва. Погибнет, надоев эсэсовцу своими просьбами о необходимости срочной отправки больного мужа в госпиталь. А мертвое тело профессора Степана-Борисовича-мы-русские-Эйдельмана ляжет в могильную яму вместе с другими евреями местечка, в точности, как все они – нагишом, без кожуры одежд, званий, учености, изящного вкуса и каких-либо иных высококультурных признаков.

Отстраненность, с которой Прейгерзон описывает страшную сцену акции, понятна: если автор даст волю слезам, то попросту не сможет писать. Но все же антипатия, испытываемая писателем к семейству Эйдельманов, чувствуется и тогда, когда раздетый догола профессор, рыдая, лежит на краю рва. Даже старая пузатая хищница Хая-Сара Берман, которая ухитрялась зарабатывать на несчастье, извлекая выгоду из нечеловеческих условий немецкой оккупации, удостаивается от Цви Прейгерзона большего уважения: «С честью уходит из жизни эта толстуха».

Это ни что иное, как приговор – безжалостный и окончательный приговор еврейской Ассимиляции. По Прейгерзону, там ей, в итоге, и место – в мертвой расстрельной яме; именно туда рано или поздно приводит она евреев, соблазненных заманчивой перспективой слиться с окружением, стать «как все». Вместе с тем, невозможно отделаться от мысли, что суровость автора по отношению к Степану Борисовичу объясняется еще и тем, что в какой-то мере писатель видит в нем самого себя – или, по крайней мере, людей из своего близкого круга.

Как ни крути, а сходства никак не меньше, чем отличий. Оба – и Эйдельман, и Прейгерзон – преподают в столичных институтах; оба изобретают сложные промышленные механизмы и пишут монографии; оба ведут жизнь, лишенную каких-либо внешних еврейских признаков; их дети – типичные представители столичной интеллигенции, для которой слово «местечко» ассоциируется в лучшем случае с летней дачей, а слово «местечковый» является синонимом вульгарности и дурного вкуса. Конечно, по сравнению с Григорием Израилевичем Прейгерзоном, Степан Борисович Эйдельман – крайний случай. Но не следует

обольщаться: если продолжить процесс ассимиляции, то эти две линии должны непременно сойтись – если не во втором, так в третьем поколении.

А поскольку конечный пункт этого маршрута находится, как уже сказано, на дне расстрельного рва, то неизбежно возникает вопрос об альтернативе: какой выход из этой смертельной ловушки предлагает писатель своему герою Вениамину (и своему сыну, совсем не случайно носящему то же имя)?

Альтернатива

В повести «Шаддай» спасение приходило от Традиции, олицетворенной талисманом – пергаментом с каббалистическими знаками, начертанными четыре столетия назад рукой Святого Ари. Подобный мотив присутствует и в романе.

Когда немцы расклеивают приказ евреям местечка явиться на площадь, кладбищенский габай Аарон Гинцбург посылает своего сына Лейбку сказать всем, чтобы они пришли к могиле Старого Ребе. Гинцбург убежден, что только покойный праведник способен защитить свой народ. В отличие от него, в это верят очень немногие, так что в итоге в штабле рядом с гробницей собирается всего лишь около тридцати человек. Среди них – бывший глава сионистов Гадяча Шломо Шапиро.

Шапиро привык реально оценивать ситуацию. Спасти как можно больше людей – в этом видит сейчас свою миссию старый шестидесятипятилетний сионист. Еще до прихода немцев он едва не сорвал голос, уговаривая евреев бежать от войны на восток и действительно убедил многих. Самому Шломо не удалось тогда уехать из-за приступа болезни. Теперь он не сомневается, что пришедшие на площадь будут уничтожены, и увещевает людей не подчиняться немецкому приказу, а строить укрытия и прятаться, где только можно. По мнению Шапиро, логично было бы не собираться в кучу, а разбежаться в разные стороны и спастись поодиночке. Именно с этим предложением, а вовсе не полагаясь на сверхъестественную силу мертвого цадика, он приходит в штабль на кладбище.

Когда выясняется, что немцы действительно расстреляли всех, кого им удалось собрать на площади, а также найти и вытащить из домов, людьми возле гробницы овладевает отчаяние. Все понимают, что рано или поздно они будут обнаружены и убиты. Но тут появляется надежда в лице партизан. Это уже знакомые нам Вениамин и Соломон. Попав в окружение недалеко от Полтавы, они добрались до родных мест и теперь прячутся в лесу вместе с другими партизанами.

Соломон возвращается в отряд, чтобы организовать операцию по спасению евреев; Вениамин остается в штабле с приказом ждать и действовать по обстановке. В этот момент и происходит неизбежное: скрывающихся на кладбище евреев обнаруживают местные жители, братья Грищуки. Братья затеяли строить дом, и им нужны каменные глыбы для фундамента. Гранитные еврейские надгробья подходят для этой цели как нельзя лучше.

Кладбищенский габай Аарон Гинцбург вступает в неравную схватку с мародерами. Видимо, разумнее было не выдавать своего присутствия, но Аарон в принципе не может стерпеть вида разграбленных могил. В этом опять можно

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

усмотреть символику. Да, забота о живых ненадолго продлит жизнь двум десяткам беглецов. Но пренебрежение памятью о мертвых угрожает историческому бытию всего народа... Что выбрать, когда ты поставлен перед выбором «или – или»? Гинцбург, не колеблясь, выбирает надгробья.

Грищуки уезжают несолоно хлебавши, но доносят в полицию, и к ночи штабль окружают вооруженные полицаи. Подперев дверь снаружи, они ждут рассвета и подкрепления, чтобы покончить с набившимися в тесное помещение гробницы людьми.

Дверь крепко заперта снаружи. Предусмотрительные полицаи навесили замок с внешней стороны. Они твердо намерены дождаться подкрепления, чтобы не ушел ни один из евреев. Вокруг молчит старое кладбище. Тихо. Но люди в штабле оглушены громом собственных сердец. Люди в панике, рты пересохли, руки дрожат. Конечно, нет выхода, нет надежды.

В шатре гробницы по-прежнему горит светильник. Черный габай Аарон Гинцбург стоит рядом с могилой. Его голова перевязана, под глазом синяк. Лицом к лицу со Старым Ребе стоит черный габай.

Это он виноват в случившемся. Но мог ли кладбищенский габай допустить осквернение могил? Ведь Ари, благословенна память его, сказал, что душа есть даже в неживом – в камнях, земле, воде. Как же тогда стерпеть грязную руку мародера на надгробьях, где высечены еврейские буквы, в каждой из которых есть искра Негасимого огня?

Радость наполняет Гинцбурга. Кажется ему, будто сам ребе, встав из могилы, смотрит ему в лицо, проникая взглядом в глубину сердца. Святой ребе, адмор! Помоги детям твоим, попавшим в беду! Спаси их силой своей молитвы! Ведь без молитвы святых душ из иного мира давно пришел бы конец миру земному...

Глаза Гинцбурга закрыты. Он чувствует, как светлая волна заполняет шатер. Ее дуновение идет сверху, снизу, со всех сторон. А вместе с нею слышится голос, повторенный эхом – двойным, троекратным. *Не мог я вытерпеть дольше, – говорит голос. – Ведь обычай Иакова – обычай милости. Открой пещеру под Негасимым огнем! Открой пещеру под Негасимым огнем! Открой пещеру под Негасимым огнем!*

Гинцбург открывает глаза. Что это? Какая пещера? Вокруг все по-прежнему. Колышется в полумраке язычок огня. Над могилой ребе невысокий купол. Поблескивают в тусклом свете золотые буквы на мраморных плитах. А вокруг слышны вздохи, шепот и приглушенные голоса. В самом деле – каждый здесь уже осознал, что не осталось надежды. И вот сгрудились они все в последнем прибежище, у могилы Старого Ребе.

Габай рассказывает о своем видении Вениамину, и тот вспоминает о предании, слышанном им от старой Эсфири, мастерицы лапши. Согласно легенде, в момент похорон Старого Ребе в землю ударила молния, и в разверзшейся земле образовалась глубокая пещера от гробницы до речного откоса. Но стоит ли верить в предания? В гробнице есть лишь могила и столик у

Меж трех миров

стены – тот самый, на котором стоит масляный светильник с язычком огня, зажженного небесами в день смерти Старого Ребе и с тех пор ни разу не угасшего.

Вениамин осторожно сдвигает в сторону маленький столик и обнаруживает под ним пыльную плетеную дорожку. А что под ней? Деревянная крышка! Он приподнимает крышку – яма! Вниз ведет несколько ступеней. Вениамин спускается в яму и обнаруживает дверь. Она закрыта, но поддается нажиму его руки. Парень протискивается в тесный проем, зажигает спичку и видит пещеру. Его не покидает ощущение, что он уже побывал тут когда-то. В рассказе старой Эсфири? В собственном сне, навеянном этим рассказом? Так или иначе, туннель должен вывести к реке.

Парень возвращается в шатер. Глаза обращаются к нему с немым вопросом и надеждой. Вениамин прикладывает палец к губам. Главное – не поддаваться панике. Из-за двери доносятся пьяные песни и выкрики немцев. А здесь – здесь должны звучать печальные молитвы. Пока немцы слышат их, они уверены, что все в порядке.

Евреи уходят по туннелю к реке, к спасению, а черный габай Аарон Гинцбург, вернув крышку и столик на место, остается в гробнице, чтобы молитва не смолкала, чтобы немцы снаружи думали «что всё в порядке»... Вот и еще один символ: путь к спасению открыт лишь тогда, когда за спиной продолжают звучать старые молитвы Традиции. Под утро, войдя в гробницу, палачи обнаруживают, что там остался лишь один старик в кипе, по-прежнему бубнящий еврейские псалмы.

Сначала на него кричали; Аарон Гинцбург молчал. Затем стали избивать кулаками, прикладами, сапогами; Аарон Гинцбург молчал. Прострелили колени; Аарон Гинцбург молчал. Тогда три автоматные очереди прервали жизнь кладбищенского габая Аарона Гинцбурга. Одна из пуль рикошетом задела светильник; стекло лопнуло, огонек взметнулся и погас.

И тут же дрогнула земля, странный звук послышался в ночном небе.

Вернувшийся на кладбище Вениамин, а также Соломон и приведенные им партизаны устраивают засаду на вышедших из штибля немцев и полицаев. Пока товарищи снимают с убитых врагов оружие и теплую одежду, Вениамин заходит в гробницу.

Он сдвигает в сторону столик, поднимает дорожку... Что это? Чудеса, да и только! Под плетеной дорожкой нет ни крышки, ни дыры, ни ступеней. Сомкнула земля свой зев, нет больше пещеры, если вообще была...

Они возвращаются той же дорогой, по которой пришли. В гробнице Шнеура-Залмана, наставника и учителя хасидов Хабада, великого адмора, чья святость защитит нас, лежит на полу мертвый светильник. Тьма завладела

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Господним миром. Не горит больше Негасимый огонь, искра Бесконечного Света на могиле Старого Ребе. Не греет больше его пламя эту часть огромного мира.

Этот рассказ исполнен чрезвычайно важной для Прейгерзона символики. Во-первых, чудесное спасение приходит к людям со стороны Традиции, от великого адмора, наставника и учителя.

Во-вторых, чудо вмешивается в происходящие события лишь тогда, когда ситуация становится отчаянной и людям кажется, что выхода нет.

В-третьих, известие о пути к спасению приходит лишь к тому, кто действительно верит – к Аарону Гинцбургу.

В-четвертых, о пещере и туннеле вспоминает лишь Вениамин, то есть тот, кто удосужился с подобающим вниманием и уважением выслушать «сказки» старой еврейки Эсфири.

В-пятых, прикрытием для сбежавших по туннелю людей служат молитвы. Если бы старый габай сбежал вместе со всеми к новой жизни, а не продолжал читать псалмы над могилой праведника, побег попросту не удался бы.

В-шестых, сомкнувшаяся земля и погасший Негасимый огонь говорят о том, что прежняя жизнь кончилась. Угасание огня символизирует полное и окончательное исчезновение еврейского местечка, завершение еврейской жизни на восточно-европейской земле. Кончено. Евреям больше нечего делать в Волыни и Полесье, Прибалтике и Польше, Галиции и Подолии, Буковине и Бессарабии. Повторного спасения не будет: «Тьма завладела господним миром». Время ставить точку.

И эту точку ставит уже упомянутый Шломо Шапиро, «сморщенный болезненный старик, почти не выходящий из дому по причине больного сердца и почек». Именно ему предстоит стать «отцом и учителем» для Вениамина, олицетворяющего в романе уже не столько путешественника Биньямина, сколько будущее еврейского народа. Шапиро представляет третью – наряду с Ассимиляцией и Традицией – вершину треугольника.

Старик вообще очень любил иврит – привязанность, которая считалась тогда запретной в нашей стране. Но в отдаленном от столиц городке Гадяче Полтавской области нашел Шапиро укромный уголок, где можно было целиком посвятить себя чтению и изучению ивритских текстов.

...С начала века учился он у первых сионистов. Многих из нас еще не было тогда на свете, но уже подали свой голос люди, указавшие остальным прямую дорогу в сложной паутине путей этого мира. В конечном счете, их направляла Книга книг – Танах. Книга, полная поэтических строк и повествований об истории народа, книга, содержащая странные законы и заветы священников и пророков. Еврейские дети веками заучивали эти стихи и строки в хедерах, школах и молельных домах. Как в камне, были высечены эти слова и законы в душах многих поколений. Но дети вырастали, и обнаруживалось, что само слово «еврей» воспринимается вокруг с презрением и гадливостью. И когда появились сионисты, молодежь с энтузиазмом последовала за ними. В том числе и Шломо Шапиро.

Шапиро с его верностью ивриту и сионизму чем-то напоминает черного габая Аарона Гинцбурга – он тоже отказывается от ассимиляции, от интеграции в чужое общество, тоже блюдет свою особость и надеется на лучшие времена.

О жизни и смерти еврейского народа говорит Шапиро. Несколько путей предложено для решения этого вопроса. Гитлер настаивает на полном уничтожении. Другие, и в том числе марксисты, говорят о полном растворении, ассимиляции. А сионисты борются за еврейское государство в Земле Израиля, куда съедутся евреи из всех стран диаспоры.

Шапиро полагает, что этот спор идет уже давно, на протяжении многих поколений. Средневековые массовые убийства, резня во времена Хмельницкого, погромы в царской России и на Украине, нынешняя планомерная ликвидация унесли жизни сотен тысяч людей. Казалось бы, это наиболее эффективное решение. При почти полном отсутствии сопротивления можно малыми силами уничтожить огромные массы людей.

...Остальные молчат: никому нет дела до еврейского горя. Редко кто станет подвергать себя опасности, помогая гонимым и убиваемым. И все же Шапиро думает, что невозможно уничтожить весь народ без остатка. Уже были трудные времена, когда нас насчитывалось всего несколько десятков тысяч на весь мир. Поднялись тогда, поднимемся и теперь.

...Поистине неисправимый человек этот Шломо Шапиро! Такое впечатление, что чем труднее жизнь, тем крепче становится его любовь к далекому Сиону. При советской власти, которая не одобряла занятия ивритом, Шапиро вел себя довольно сдержанно. Зато теперь, в лесу и под фашистской оккупацией, он решил перейти от теории к практике, и ивритский кружок стал первым таким практическим шагом.

Итак, предлагаемая Прейгерзоном альтернатива Ассимиляции ясна: это союз устремленного в будущее Сионизма и опирающейся на прошлое Традиции, которая поддерживает и спасает народ в годы несчастий и бед. Особенно важной видится тут вторая часть этой формулы. В пору творческой и духовной зрелости, пережив страшную войну и ужасы Катастрофы, писатель навсегда отбросил былую неприязнь к «пыльным» бородатым старикам, раскачивающимся в темной от времени синагоге. Годы жизни и многие думы отделяют «черного проповедника» Екутиэля Левицкого, казавшегося Прейгерзону одержимым болезнью, пораженным «зеленой королевой Паранойей», от «черного габая» Аарона Гинцбурга – рыцаря Традиции, спасителя попавших в беду соплеменников.

Роман «Когда погаснет лампада» был завершен в 1962 году, спустя семнадцать лет после окончания Второй мировой. Семнадцать лет, вместивших, среди прочего, следствие, тюрьму и рудники Гулага.

Гулаг

Цви Прейгерзон был арестован 1 марта 1949 года и девять месяцев спустя приговорен Особым совещанием при МГБ СССР (то есть заочно и внесудебно) к десяти годам исправительно-трудовых лагерей «за участие в антисоветской националистической группировке и за распространение нелегальных рукописей». Короче говоря, произошло именно то, чего он так опасался и чего ожидал, когда в 1941-42 гг. принимал решение вернуться к творчеству на запретном языке.

В вышеприведенной формулировке приговора лживы все слова, кроме, может быть, предлогов. Прейгерзон не участвовал ни в какой «группировке» – тем более, «националистической». В его рассказах, повестях и романе нет ровным счетом ничего антисоветского. Правда, нет там и ничего советского – хотя бы потому, что предметом рассмотрения, заветной темой их автора была летопись еврейского местечка – в полном, как уже отмечалось, отрыве от происходящих вокруг политических и революционных бурь. Местечко – и больше ничего. Он в принципе не мог быть антисоветским или советским по той простой причине, что смотрел поверх этой проблематики, писал о другом.

«Распространение нелегальных рукописей» – и вовсе чушь. Во-первых, нелегальной рукописью может быть лишь рукопись, предварительно представленная на рассмотрение компетентных органов и объявленная таковой. Но Прейгерзон, будучи крайне осторожным человеком, никуда не посылал свои тексты, начиная с конца 1920-х годов. Засланный к писателю стукач и провокатор ценой огромных усилий уговорил его попробовать передать в Израиль тетрадь с рассказами через возвращающихся на родину польских граждан. Прейгерзон согласился после долгих колебаний, но согласился лишь потому, что тексты заведомо не содержали никакой антисоветчины.

Иными словами, речь шла о явной провокации, о сшитом по заказу МГБ деле, не имевшем под собой никаких реальных оснований. Но когда этому ведомству требовались реальные основания? Скорее всего, они давно – еще с 20-х годов, были осведомлены о пристрастии Прейгерзона к ивриту, и не брали его только потому, что еще не пришло время. «Пришло» оно только в 1948-ом, когда Сталин вернулся к своим довоенным планам по устранению евреев из всех сфер общественной жизни. Эта кампания началась в 1948-ом году убийством Михоэlsa и всенародной борьбой против «безродных космополитов и низкопоклонства перед Западом», продолжилась расстрелом членов Еврейского антифашистского комитета (1952) и должна была завершиться «делом врачей» с последующей масштабной высылкой евреев на Дальний Восток.

Учитывая столь тщательную проработку вопроса, Цви Прейгерзон, скорее всего, был бы арестован в любом случае – даже если бы не стал тогда, в Караганде, вписывать ивритские буквы меж строк «Капитала», даже если бы продолжил свое писательское молчание. С точки зрения сталинских соколов, для ареста вполне хватало рассказов, напечатанных в 1927-30 гг. в периодических изданиях Лондона, Нью-Йорка, Берлина и Тель-Авива...

Итак – Лефортово, Бутырка, Карагандинский лагерь строгого режима, лагеря в Инте, Абези и Воркуте... В первый же лагерный год Прейгерзону сильно повезло: из-за своей хронической болезни (язва двенадцатиперстной кишки) он очень ослаб, и врачебная комиссия определила его в бригаду инвалидов. Язва, кстати, лагеря не пережила – бесследно исчезла еще до освобождения писателя.

Не в силах переносить вынужденное безделье, Прейгерзон занялся усовершенствованием производственного процесса на шахте и вскоре представил на рассмотрение лагерного начальства угольный комбайн новой конструкции. Впоследствии изобретение было даже запатентовано, и патент – невиданная по тем временам деталь – был прислан автору в лагерь. Высокая инженерная квалификация пришлась ко двору, и в итоге спасла немолодого уже Прейгерзона от тяжелых физических работ и гибели. Не исключено, что последующие переводы писателя из лагеря в лагерь происходили именно по причинам производственного характера. Так он доехал до шахт Воркуты, где организовал и возглавил лабораторию по обогащению угля.

12 декабря 1955 года жена Григория Израилевича получила сообщение о полной реабилитации мужа. Таким образом, заключение длилось шесть лет и девять с половиной месяцев. Что сделал бы любой другой зэк, получив возможность покинуть лагерь? Конечно, немедленно вернулся бы домой. Любой другой – но только не Прейгерзон. Выше уже не раз говорилось о гипертрофированном чувстве ответственности как главном качестве этой неординарной личности. Уже в статусе свободного человека, имея в кармане обещание руководства Горного института восстановить его в прежней должности, он остается в воркутинской лаборатории до конца марта 1956-го, чтобы закончить начатую работу!

В Москве на Северном вокзале меня встретили жена, дочь с мужем и мои друзья. Встреча была праздничной и трогательной. Мы стояли группой на Комсомольской площади около вокзала в ожидании такси. Внезапно подошел к нам мужчина лет сорока и громко сказал: «Эй, жида, е... вашу мать, вы чего тут собрались?»

Это были первые слова, которые я услышал в Москве после семи лет отсутствия...

(из «Дневника воспоминаний бывшего лагерника», перевод с иврита И. Б. Минца, М. изд. «Возвращение», 2005)

Так сам Прейгерзон описывает момент своего возвращения в «Дневнике воспоминаний бывшего лагерника», который он начал через год после возвращения, в апреле 1957-го. Эта книга носит подчеркнуто документальный характер – в ней представлено всё, что сохранилось в памяти бывшего заключенного Гулага: события его жизни (а точнее – выживания) в лагере, имена и образы встреченных им людей, их рассказы о себе. «Дневник» был опубликован в Израиле (изд. «Ам овед», Тель-Авив, 1976) уже после кончины автора.

Возвращаясь к моменту ареста, следует отметить, что при обыске квартиры Прейгерзонов чекисты не нашли ни одной строчки на иврите. По простой причине: ближайшие друзья писателя Цви Плоткин и Меир Баазов были арестованы пятью-шестью месяцами раньше, и у Прейгерзона было время подготовиться к визиту незваных гостей. Главная заслуга спасения архива (где, в числе прочего, была и рукопись первой части романа «Когда погаснет лампада») принадлежит супруге писателя Лие Борисовне Прейгерзон.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Узнав об аресте Григория Израилевича, знакомые, у которых хранился чемодан с архивом, отказались прятать его и далее. Лие Борисовне стоило немалого труда найти наконец относительно надежное место в дачном поселке Кратово. Там, на чердаке летнего дома, обернутый в несколько газетных слоев от сырости и пересыпанный химикатами от крыс, чемодан пролежал до возвращения Прейгерзона в Москву.

Художественное отражение тема ареста получила в рассказе «Иврит», переданном автором в Израиль и напечатанном в 1960 году в литературном приложении к газете «Давар».

Который день продолжается мой поединок со следователем. В его распоряжении – все мыслимые средства подавления, мои руки пусты.

Он позаботился о том, чтобы я остался в полном одиночестве, без малейшей связи с окружающим миром. Моя камера черна и тесна, толстый стальной лист приварен к окну ее изнутри, наклонная стальная решетка – снаружи. В мощной железной двери – дырка глазка. Днем и ночью расхаживает по коридору дежурный надзиратель. Его шаги размерены и ровны, как щелчки метронома; через равные промежутки времени открывается и снова захлопывается глазок. До сих пор меня пробирает озноб при воспоминании об этом едва слышном шорохе.
(здесь и далее – из рассказа «Иврит»)

Нужно сказать, что описанный в рассказе «поединок со следователем» во многом представляет собой художественный вымысел – вернее, проявление настоящего желания автора вернуть время назад и вообразить иное, отличное от невыносимой реальности развитие событий – такое, каким бы оно, возможно, могло быть, если бы заплечных дел мастеру в форме МГБ противостоял не больной пятидесятилетний язвенник с уже надорванным сердцем, а молодой силач, неуязвимый для зубодробительных ударов и способный вынести любые пытки со стойкостью голливудских киногероев.

То, что произошло на самом деле, честно рассказано писателем в «Дневнике»: после жестоких избиений и издевательств, в полубессознательном состоянии, истощенный от голода и измученный галлюцинациями в результате пытки многосуточным насильственным бодрствованием, он подписал почти всё, что подсунули ему следователи.

Рассказ «Иврит» – попытка справиться с этим унижительным воспоминанием, попытка отомстить – пусть и в мире литературного вымысла – своим действительным врагам и мучителям. Попытка, несомненно, удачная – ведь в людской памяти остается лишь то, что закреплено письменным словом. А это значит, что такими они отныне и будут запомнены: желтолицый мерзавец-чекист и, особенно, провокатор Сережа Вайсфиш – прототип отвратительного стукача Александра Гордона (в «Дневнике» он проходит под именем Саша), чьими руками и были сшиты дела на Прейгерзона и его товарищей.

Вся еврейская культура сидела тогда по тюрьмам, а коли так, то власти не могли обойти и нас – ее учеников и радетелей. Из некогда большого количества любителей иврита уцелели к тому времени лишь считанные единицы. Кого-то

Меж трех миров

арестовали, кто-то ушел в мир иной, кто-то уехал в Землю Израиля, и связь с ним прервалась по понятным причинам. Рядом со мной остался лишь Шмуэль, мой старший товарищ. А чуть позже прибился к нам новый приятель Шрага Вайсфиш. Это был странный парень; в его глазах мне сразу почудилось что-то мышинное.

Официально Шрага звался Сергеем Владимировичем, Сережей. Он без устали мелькал в каждом месте, где чувствовался хотя бы намек на существование живого еврейского духа. И уж конечно, запросто бывал в доме Шмуэля и других знакомых евреев, в том числе, и в моей московской квартире. Я был тогда по макушку загружен на работе и потому не имел возможности присмотреться к Вайсфишу с должным вниманием. Симпатия, которую проявлял к нему Шмуэль, показалась мне достаточным свидетельством Сережиной порядочности. Когда мы собирались втроем, Шмуэль и я говорили между собой на иврите. Сережа слушал, но явно ничего не понимал.

Вскоре он попросил меня дать ему хотя бы несколько уроков языка. Я ответил согласием, и с тех пор на протяжении двух лет Вайсфиш дважды в неделю бывал в моем доме в качестве гостя и ученика. Язык был чужд ему и звуком, и смыслом, поверхностные знания и весьма средние способности тоже не помогали делу. Тем не менее, по прошествии некоторого времени Сережа уже мог кое-как говорить на иврите. Не скрою, я гордился его успехами, в которых была немалая толика моих учительских усилий.

Как правило, Вайсфиш приходил ровно в то время, когда начиналась трансляция новостей по «Голосу Америки» – радиостанции, которая в Советском Союзе считалась клеветнической. Чем больше антисоветчины содержалось в той или иной передаче, тем больше она нравилась Сереже. В конце 48 года он попросил дать ему почитать на дом какой-нибудь из моих ивритских рассказов. Я снова согласился. Тягой к написанию рассказов на иврите я заболел еще в юношеские годы, и со временем это увлечение превратилось в необходимую потребность. Вайсфиш знал об этой моей слабости...

Следователь в глазах арестованного героя рассказа – существо из иного мира. Это даже не человек, а проявление враждебной разрушительной стихии. Бессмысленно ждать от стихии человеческой реакции, надеяться на милость, понимание или пощаду. Со стихией можно бороться, ее можно одолеть, уцелев; ей можно проиграть, погибнув. Но обижаться на стихию (бурю, наводнение, пожар, следователя МГБ) нелепо и бесполезно. Именно поэтому в описании побоев и издевательств, которым подвергается герой рассказа, нет и тени обиды на подонков из МГБ. Эти абзацы и в самом деле похожи на подробный и бесстрастный перечень ущерба от стихийного бедствия.

Обычно по возвращении в камеру я сразу ложился, чтобы не терять ни секунды из оставшихся драгоценных минут сна. Сигнал подъема в тюрьме звучал в шесть, а затем спать не разрешали. Ложиться запрещалось, но не получалось и заснуть сидя: надзиратели строго следили за тем, чтобы глаза заключенных оставались открытыми. Поэтому нам предписывалось постоянно сидеть лицом к

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

дверному глазку. Стоило зажмуриться, как раздавался громкий стук в дверь, сопровождаемый грубой площадной руганью. Допрос, продолжающийся до пяти утра, оставлял на сон меньше одного часа в сутки.

...На следующую ночь меня привели в другую комнату, которая казалась намного меньше привычного кабинета. Да и следователь выглядел иначе: нарядно одетый, он сидел за столом и просматривал бумаги. Меня усадили на стул у двери. Не прошло и нескольких минут, как вошел незнакомый полковник и сразу стал задавать вопросы о моем поведении. Следователь отвечал, что веду я себя отвратительно, не даю показаний и отказываюсь раскаяться. Полковник обернулся и, выкатив глаза, смерил меня удивленным взглядом с ног до головы.

– Мы ж тебя в порошок сотрем, – сказал он. – Раздавим физически. Ты, верно, понятия не имеешь, куда тебя привезли.

Затем он широко размахнулся и с силой ударил меня кулаком, раз и другой. Удары пришлись по ушам, меня качнуло сначала к одной стене, затем к противоположной. Кабинет закружился перед моими глазами, туман окутал оглушенную голову, как толстый слой ваты. Звуки едва прорывались ко мне. Полковник что-то тихо сказал желтолицему следователю...

...Он коротко хохотнул и огорошил меня мощным ударом в левый висок. Тонкая струйка крови поползла по моей щеке. В глазах потемнело, и из темноты снова послышался голос полковника. Он почти теми же словами повторил сказанное прежде, добавив, что им и без моего признания известны все детали моих преступлений. Затем полковник перешел на чисто матерный диалект русского языка и многократно помянул мою мать и весь мой род до пятого колена, включая дальних внучатых дядьев и троюродных кузенов. Желтолицый услужливо добавил многоэтажный каскад ругани со своей стороны стола.

Но стоит лишь появиться на сцене Сереже Вайсфишу, как интонация рассказчика резко меняется. В данном случае речь уже идет не о безличной стихии, а о человеке, недостойном называться человеком. О духовном альбиносе, уроде, белой вороне (на что намекает сама фамилия персонажа – Вайсфиш, белая рыба).

...что касается самого Сережи, подлого провокатора и стукача, то не зря с самого начала шевелились в моем сердце сомнения на его счет, ох, не зря...

...перед моим мысленным взором стояла лишь мышьяная физиономия Вайсфиша, папироска в углу его тонкогубого рта, нога, которой он скучающе покачивал, сидя на стуле.

...Это ведь я, я научил его ивриту! Я подготовил этого шакала для волчьей стаи, усовершенствовал его опыт, привил ему нужные навыки. Теперь он наверняка считается большим специалистом. Скорее всего, по окончании моих допросов его направят на более ответственную работу, требующую знание иврита. А сейчас? Что получается сейчас? Получается, что я продолжаю обучать его, делать ему карьеру. На свободе я учил подлеца ивриту дважды в неделю...

Меж трех миров

...Лежа на тюремной койке, я сжимал кулаки от бессильной ненависти. О, эта раскачивающаяся нога, о, эти бегающие равнодушные глазки над дымком папиросы! Подлый крысеныш, доносчик и стукач, предавший всё, что свято и дорого нормальному человеку, он должен был понести наказание! Я чувствовал, что просто не смогу жить дальше, если этот гнусный опарыш не будет раздавлен.

Почему? Из-за того лишь, что Вайсфиш был евреем, как и преданные им люди? Вряд ли: среди лишенных человеческого облика винтиков машины МГБ тоже есть евреи (если судить по «Дневнику», прокурор, который вел дело Прейгерзона, носит типично еврейскую фамилию Дорон, а чиновник, объявивший осужденным приговор, «был еврей, в очках, примерно моего возраста»). Дело тут не в национальности: ненависть, которую испытывает к сексоту¹ Вайсфишу герой рассказа (а с ним и сам Прейгерзон), продиктована иными причинами. Мерзавец осквернил своим поганым ртом, своими склизкими прикосновениями самое святое – иврит.

Поразительная и очень символичная деталь! Уже одно приобщение к ивриту, занятие ивритом – пусть даже с целью предательства! – очеловечивает бесчеловечное, сообщает Вайсфишу живые черты и таким образом делает его легитимным объектом для ненависти – в отличие от желтолицего следователя, полковника, прокурора и очкастого еврея-заседателя из аппарата Особого совещания.

В один кабинет с подследственным Сережа попадает в качестве переводчика, потому что в какой-то момент герой рассказа отказывается говорить на любом языке, кроме иврита.

– Гражданин полковник, – сказал я, когда они израсходовали весь запас непристойностей. – Поскольку вы упорствуете в применении недозволенных методов следствия, а также издеваетесь над русским языком, оскверняя грязной матерной руганью эту святыню, сотворенную великим Пушкиным, великим Тургеневым и другими титанами духа, я заявляю, что отныне отказываюсь говорить здесь по-русски и требую, чтобы следствие велось на моем родном языке, коим является иврит, язык моего народа.

Полковник перевел дух и несколько раз сглотнул.

– В карцер! – скомандовал он.

...Трое суток провел я в карцере, в глухом молчании, наедине с непроглядной мглой. Я не кричал – лишь дважды в день, утром и вечером, истово, как молитву, повторял одно и то же:

– Клянусь, всем, что свято, клянусь всем, что дорого, клянусь, что буду говорить только на иврите.

Я шептал эти слова стоя, сжав кулаки и закрыв глаза, собирая в единый комок все силы своей души и помещая их в эту клятву, как в самый надежный ларец.

¹ Сексот – секретный сотрудник.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

В рассказе этот надежный ларец иврита помогает выдержать побои, пытки и издевательства – все, что угодно.

На меня посыпался град зуботычин – по лицу, по затылку, по шее, по телу... Швыряемый из стороны в сторону, от кулака к кулаку и от сапога к сапогу, я думал лишь о том, как не упасть. Хрустнул, выворачиваясь из десны, сломанный зуб.

– Мы тебе покажем! Говори! – слышалось сквозь объявшую меня пелену. – Говори!

– Иврит! – выкрикивал я в ответ. – Ах верак¹ иврит! Иврит!

Святое слово вылетало из моего разбитого рта вместе с брызгами крови.

Мне казалось, что одно его звучание помогает, придает сил. За раскрытой дверью мелькнула чья-то тень и тихий голос произнес:

– Хватит.

Теперь, когда иврит сделал героя рассказа неуязвимым, у него остается лишь одна насущная забота: месть. Как можно отплатить Сереже Вайсфишу, осквернителю святыни? Тщательно обдумав свои небогатые возможности, герой останавливается на единственном более-менее реальном варианте: сильный удар ногой в живот. Удар может быть только один – на большее рассчитывать не приходится из-за того, что немедленно вмешаются охранник и желтолицый следователь. Один – но сокрушительный, с максимально болезненными результатами. И заключенный начинает тренировать задуманное движение, отрабатывать его точность и укреплять нужные мышцы. Отныне все его мысли и силы устремлены к этой желанной цели.

Обычно я удовлетворялся лишь хлебом и кашей, отказываясь от баланды, один вид которой вызывал тошноту. Но начиная с того дня я исправно проглатывал все, что приносили: теперь у меня была цель, и я не мог позволить себе ослабеть. Вдобавок я разработал целый ряд упражнений для укрепления мышц стопы, голени и бедра, а затем принялся тренировать и собственно удар.

...Напасть с близкого расстояния, сильно, мгновенно и неожиданно – так формулировалась моя задача.

...Все мои дни были теперь посвящены тренировке удара, накачиванию мышц. Как правило, тюремные дни заполнены тоскливой скукой, особенно в одиночной камере. Но мое время летело незаметно, целиком подчиненное одной всепоглощающей цели. У меня появилось важное занятие, задача, надежда. Я чувствовал, какой силой наливаются правая нога: она казалась мне в те недели самым важным органом моего тела.

...В своей черной камере, в перерывах между шуршанием глазка я наносил яростные удары в густую тюремную мглу, мягкую, как живот Вайсфиша. Стоило мне вообразить перед собой его мышиную мордочку, как глаза наливались кровью, сердце выпрыгивало из груди, и вся сила мышц, вся мощь душевных сил, вся тяжесть моего прошлого и настоящего устремлялись в одно-единственное место: в

¹ Ах верак (ивр.) – только и исключительно.

Меж трех миров

носок бьющей ноги. Р-р-раз!.. Два!.. Три!.. По-моему, при этом я даже выкрикивал что-то нечленораздельное.

И вот наконец наступает удобный момент – минута святого мщения.

Я весь напрягся, чувства мои обострились, как у охотника, выслеживающего дичь. Мое грозное оружие, правая нога, вздрогнула, наливаясь мощной пружинистой силой. Все произошло очень быстро. В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и вошел Вайсфиш, одетый по-летнему. Я поднялся с места.

– Шалом, Сережа!

Не отвечая, он направился мимо меня к столу следователя. Я сделал полшага вперед и ударил. Всю жизнь свою, всю волю, всю ненависть, копившуюся долгими месяцами, весь свой страх и отчаяние, всю обиду, всю боль вложил я в этот страшный удар. Он пришелся, как я и задумывал, в живот, в область желудка. Вайсфиш издал утробный задушенный стон и согнулся пополам от боли и ужаса. Следователь в панике вскочил с места, всей ладонью нажимая на кнопку звонка. Вбежал солдат.

– В карцер! В карцер! – завопил майор.

Несколько минут спустя я уже сидел в темном шкафу полуподвальной камеры, потирая ушибленный носок стопы. После этого я хромал как минимум две недели. Хромота радовала меня: если я так сильно повредил ногу, то каково же пришлось животу Вайсфиша...

Свершилось! Святотатец попадает в больницу, справедливость восстановлена, иврит отомщен. Но даже теперь, после понесенной кары, нет Вайсфишу прощения. Отсидев свое в сталинских лагерях, реабилитированный герой рассказа возвращается в Москву и случайно встречается бывшего сексота Сережу на улице.

Нет, это был уже совсем не тот Вайсфиш. Честно говоря, я с трудом узнал его. Желтолицый, болезненно сгорбившийся, он передвигался с видимым трудом, опираясь на палку, как на костыль.

– Шалом, Сережа! – приветствовал его я, и улыбнулся, как тогда в кабинете следователя, а моя правая нога инстинктивно напряглась, готовясь к удару уже помимо моего желания.

Он взглянул на меня, и ужас узнавания вспыхнул в знакомых мышиных глазах. Сначала паника парализовала его на секунду-другую, но затем Вайсфиш опомнился, отшатнулся и бросился наутек, судорожно постукивая палкой по асфальту тротуара. А меня вдруг разобрал неудержимый смех, даже хохот. Я слышал его будто со стороны – он был громок, и груб, и невесел. Я смотрел вслед Вайсфишу и смеялся, и этот жуткий смех кнутом хлестал его по спине, по крыльям, которые словно выросли у этого червяка, спасающего свою подлюю, грязную, никому не потребную жизнь.

Впоследствии рассказ «Иврит» вошел в список литературы, рекомендованной для внеклассного чтения ученикам израильских школ.

В период оттепели у писателя появилась возможность негласной пересылки рукописей в Израиль. Сначала – через израильского посла в Москве Йосефа Авидара (двоюродного брата Прейгерсона), а затем – при помощи секретаря посольства Давида Бартова.

Стать гоем

Верующий иудей начинает каждое утро в синагоге с *Биркот га-шахар* (утренних благословений), выражающих благодарность Всевышнему. Первыми в их списке¹ стоят три благодарения: «*шело асани гой*» (что не создал меня гоем – то есть не евреем, другим народом), «*шело асани эвед*» (что не создал меня рабом) и «*шело асани иша*» (что не создал меня женщиной).

Трудно представить, насколько эта молитва (вкуче с концепцией еврейской избранности) раздражает как нынешнюю прогрессивную политкорректность, так и упомянутые «другие народы» – во всех странах и во все времена. Не помогают никакие объяснения – люди видят то, что предпочитают видеть (а именно – еврейское высокомерие и пренебрежение), а вовсе не напоминание о взваленной на плечи евреев тяжелой дополнительной ноше, которое на самом деле лежит в основе этих благословений. На деле они, эти благословения, сходны с благодарностью вьючного мула, почти раздавленного тяжестью тюков: «Спасибо, Создатель, – хрипит поутру этот бедняга, прежде чем снова пуститься в путь, едва переставляя подламывающиеся ноги. – Спасибо, что не создал меня ни лесной ланью, ни степным мустангом, ни породистым скакуном!»

Именно это и подразумевается в вышеупомянутых трех благословениях. Гоем (другим народам) можно не исполнять обязательные для евреев 613 заповедей? Что ж, спасибо, что не создал меня гоем...

Рабы-евреи освобождаются от значительного числа этих 613 ограничений? Тогда спасибо, что не создал меня рабом...

Женщинам-еврейкам допустимо соблюдать еще меньше, чем рабам? Ладно, спасибо, что не создал меня женщиной...

Вы спрашиваете, почему надо благодарить не за освобождение от груза, а ровно наоборот? Евреи... Что вы хотите – всё у них шиворот навыворот... А если серьезно, то, скорее всего, дело в том, что Божью ношу просто так не сбросишь. Пробовали, и не раз – об этом, собственно, вся Книга книг написана. Не вышло. Остается притвориться, что это и не ноша вовсе, а благо, и тогда уж благодарить вовсю, благодарить, не умолкая, – каждое утро, едва продрал глаза...

И все бы ничего – но как ломит спину... может, все-таки сбросить? Может, все-таки притвориться кем-нибудь другим? Женщиной – трудно. Рабом – хлопотно. А вот гоем... Что если и в самом деле притвориться гоем, скинуть к чертовой матери эту проклятую ношу и тогда уже каждое утро возносить Господу

¹ По версии ашкеназов (ашкеназов) – европейских, то есть прирейнских, немецких и восточно-европейских евреев (в отличие от несколько отличающейся версии сфарад, сефардов – выходцев из Испании, с Балкан, а также стран Северной Африки и Азии).

прямо противоположную благодарность: «Спасибо, Всемогущий! Спасибо, что сотворил меня гоем!»

Одна из поздних повестей Прейгерзона так и называется: «...*шеасани гой*» – «...что сотворил меня гоем». Она датирована 1968 годом и до последнего времени не входила ни в один сборник рассказов – ни на иврите, ни в переводе на русский (исключая разве что недавнее полное собрание рассказов Прейгерзона в переводе на русский, выпущенное в 2017 году московским издательством «Книжники» под названием «В лесах Пашутовки»).

Фабула повести проста: боец народного ополчения по имени Лева Мельцер, в первые недели войны попавший в окружение, а затем и в плен, отчаянно пытается выжить. Для еврея это практически невыполнимая задача – немцы расстреливают офицеров и людей с семитской внешностью еще до отправки в лагерь военнопленных, во время первой селекции. Стоя в длинной очереди обезоруженных советских бойцов, которая медленно продвигается по лесной опушке к месту селекции, Лева лихорадочно прикидывает немногие оставшиеся у него варианты.

Вообще говоря, он больше всего опасался именно попадания в плен – ведь это означает верную смерть, возможно, мучительную. На этот случай Лева взял у знакомой девушки-фармацевта пузырек с ядом, чтобы разом покончить с собой. С другой стороны, он поклялся матери, старой Шифре, что сделает все, чтобы вернуться живым. У Шифры двенадцать детей, и Лева – младший, любимый. Мы уже знаем, что у Прейгерзона не бывает случайных мелочей – все детали ложатся в общий символический ряд.

Двенадцать детей – как двенадцать колен Израиля. Правда, младший – и тоже самый любимый! – сын Иакова носит знаковое для Прейгерзона имя Биньямин. Но, учитывая дальнейшее развитие событий, автор попросту не может так же назвать и героя своей повести. Хотя бы потому, что Биньяминам – Третьему, Четвертому – любому! – он желает совсем другой участи... Символический и еще один немаловажный момент. Отец семейства, дряхлый патриарх Залман Бенционович довольно бесцветен – роль истинного движителя, души и непререкаемого вождя семьи Мельцеров отведена в повести матери, Шифре. Ее слово – закон. Свято данное ей обещание.

Об этом и размышляет пленный боец Лев Мельцер, медленно приближаясь к пункту селекции, к неминуемой смерти.

На краю поля журчит в зарослях кустов безымянная речушка; рядом на берегу фашисты устроили сортировку – проверяют документы, командуют, кому куда, кому что. Кому плен, а кому пулю в затылок. Скованные смертной апатией люди стоят смиренно, ждут своей очереди, своей участи. Стоит среди других и Лева Мельцер, медленно продвигается к месту проверки. Ему хорошо известно, куда здесь отправляют евреев, но общая апатия подмяла и его, мышцы ослабли, в голове крутится-вертится пустая бездумная канитель.

– Поберегся бы ты, дружище, – шепчет ему на ухо сосед. – Коммунистов и евреев – в расход, без разговоров...

Это Королев, приятель, с которым Лева сблизился в последние недели, мужчина лет сорока с хорошей улыбкой и добрым взглядом. Королев шепчет эти

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

слова и отходит в сторонку, от греха подальше. Очередь неумолимо продвигается вперед – туда, где слышны немецкие команды, крики и одиночные выстрелы.

«Он прав, – думает Лева. – Зачем я иду, как баран на бойню?»

Дрожь пробирает его, сбрасывая остатки губительного безразличия.

Бочком-бочком Мельцер выбирается из очереди. Густы заросли вдоль речки, не везде еще облетела листва... пригнись, Лева... а теперь ползком, ползком... Он быстро ползет среди густого кустарника, ища такое место, где больше листьев, где ветви сплелись особенно крепко, образуя защитный свод, способный укрыть обреченного человека от неминуемой смерти. Забравшись в самую чащу, Лева затихает: теперь его может спасти лишь полная неподвижность. Он должен вжаться в землю, стать землей, травой, кустом, муравьем. Пот ручьем льет со лба, сердце бешено колотится, нервы натянуты: в любой момент может раздаться автоматная очередь, полоснут пули по незащищенной спине... Нет, похоже, что в этом дьявольском замесе апатии и суматохи никто не обратил внимания на его побег. Замри, Лева, замри и жди, пока не минует опасность.

Итак, первое чудо произошло: Мельцеру удалось спастись от немедленной гибели. Но он понимает, что это всего лишь отсрочка. Немцы закончат селекцию и уйдут, уводя колонну военнопленных. На опушке леса останутся трупы расстрелянных и убитых во время последнего боя советских солдат. Трупы – и он, Лева Мельцер, живой труп. Потому что по его типичной внешности любой встречный-поперечный тут же распознает в нем еврея. А если каким-то чудом не распознает, то непременно обнаружит это в следующую же минуту по документам, увидев стоящую там фамилию.

Оглянись, Лева! Что ты видишь за своей спиной, еврей? Многие поколения умерщвленных, задушенных, замученных, сожженных. Горы горя, моря страданий, поля несправедливостей, погромов, нужды, унижений и страха – вот что ты видишь там, за спиной. Видишь узенькую тропку долгого страшного опыта сотен и тысяч лет, тропку, проложенную меж бесчисленных смертей и убийств, скользкую от крови тропинку, по которой всеми правдами и неправдами пробирался, продирался, выползал к жизни твой народ. И вот теперь ползешь по ней ты, Лев-Арье, сын Залмана, внук Бенциона. И если твой народ выжил, миновав океан мертвых вод и семь кругов ада, то рано хоронить и тебя, Леву Мельцера! Не зря ведь твои предки умели находить выход из безвыходных положений, в слабости черпали силу, а в беспомощности призывали на помощь горький опыт выживания. Значит, сможешь и ты, сможешь, сможешь, сможешь...

«Ты обязан вернуться живым!» – так сказала мама при расставании.

Сказала? Приказала! И он сделает все, чтобы выполнить этот материнский приказ. Погоди-погоди... на месте ли пузырек, полученный от аптекарши Лизы, не потерялся ли? Нет, вот он, здесь, в потайном кармашке. Пусть пока подождет своего часа. Лева Мельцер не собирается умирать сегодня, а что будет завтра, узнаем завтра.

...Ему нужно сменить кожу, превратиться в гою.

Это важный момент: описываемая ситуация соотносится со всей историей гонений на евреев. Прижавшийся к земле под прикрытием прибрежных кустов солдатик представляет собой частный случай общего многовекового правила. Теперь ему предстоит найти скользкую от крови тропинку к выживанию. Но как это сделать? Ответ: нужно превратиться в гоя. Эта мысль еще не оформлена окончательно – пока требуется дожить до ночи, а затем до утра. Затаившийся в кустах еврей сосредоточен лишь на необходимости слиться с землей, не выдать себя. Он не обращает внимания на гремящую вокруг какофонию войны – гром выстрелов, отрывистый лай немецких команд, вопли умирающих. Главное – постепенно темнеющее в просвете между ветвями небо, сообщающее Лева Мельцеру о ходе времени.

Лева инженер, причем хороший. Он привык мыслить систематически. Перед самой войной он так удачно усовершенствовал важный строительный механизм, что в бюро ему выписали немалую премию – две тысячи рублей. Сейчас он тоже должен найти правильное решение. Должен переделать механизм по имени Лева Мельцер – переделать так, чтобы в нем не осталось и следа от смертельно опасного еврейства. И наградой за это усовершенствование будут не рубли, а сама жизнь.

Итак, общее и частное. Кажется, что простая сумма последних и составляет первое, но это не совсем так. Вдобавок к чисто внешним признакам: рост, вес, длина рук и ног, линия спины, посадка головы, черты лица есть еще и такая неуловимая вещь, как дух, душа, характер – таинственная материя, соединяющая все эти детали в единое целое и создающая, в конечном счете, общее впечатление. Как же тогда формулируется ваша задача, инженер Мельцер? Да вот как: надо тщательно проработать каждую отдельную частность, не забывая при этом о целом. Он должен внимательно взглянуть на себя со стороны, представить желаемый общий результат и сделать так, чтобы ни одна деталь, даже самая мелкая, не казалась чужой, несоответствующей целевому облику сотворенного заново человека.

И затаившийся в кустах беглец приступает к систематическому исполнению инженерной задачи. Для начала он рассматривает три важнейших признака, по которым обычно распознают еврея: нос, осанка и акцент. С первым Лева повезло: нос у него наследственный, картошкой, с лиловатым оттенком «как у пропойцы-алкоголика». Надо бы взять эту ценную деталь за основу будущего нового облика. С осанкой хуже:

Есть, есть на земле чисто еврейские сутулые спины, полученные нами от рождения. Они словно бы взывают к миру: давай, грузи на меня, навьючивай! Тащи сюда все беды-горести-тяжести, еще тащи, еще: видишь, есть куда положить! Точно такая спина и у Левы Мельцера – не настолько сутулая, чтобы сойти за горбуна, но и не настолько прямая, чтобы не распознать в нем еврея. Последнее наблюдение указывает на два возможных пути исправления этого недостатка.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Первый заключается в том, чтобы сгорбиться еще больше. Второй, напротив, требует распрямить осанку: выкатить вперед грудь и как можно выше задрать голову.

Как кажется, второй вариант проще в реализации. Одна беда: форму спины невозможно выправить посредством тренировки, так что эта деталь в принципе неисправима, если не помнить о ней каждую минуту. Единственный способ борьбы с сутулостью – повышенное внимание и бдительность, бдительность, бдительность.

А вот что касается акцента, то тут реальная опасность:

...это характерный захлест интонации в конце каждого задаваемого вопроса, эдакий типичный всплеск, который временами вызывает у собеседников усмешку – еще и оттого, что его всегда утрированно копируют в анекдотах про Абрама и Сару... Такой недостаток невозможно устранить никакими специальными упражнениями. Остается либо притвориться немым, либо полностью устранить из своей речи какие бы то ни было вопросы.

Хорошенько обдумав обе возможности, Мельцер останавливается на втором варианте. Если правильно формулировать, то можно и в самом деле обойтись вовсе без вопросов, одними утвердительными предложениями. Не спрашивать: «Как пройти на Смоленск?», а просто сказать: «Я ищу дорогу на Смоленск». И так далее.

Помимо этих главных проблем, есть и более мелкие. Евреи жестикулируют при разговоре – значит, надо следить за руками; лучше всего держать их строго вдоль тела, по швам. Курчавые волосы придется сбрить. Манера зевать и смеяться... Ох... Лева вспоминает своего старшего брата Соломона и приходит в ужас: когда тот зевает или смеется, любой распознает еврея. Значит, надо вовсе исключить смех и зевоту из своего будущего облика. Глаза навывкате... – это можно скрыть, если постоянно хмуриться и опускать взгляд.

С чем Леве определенно повезло, так это с цветом: все Мельцеры сероглазы. Но этого недостаточно. Надо постараться придать взгляду по возможности нееврейское выражение. Что-нибудь языческое, дикуватое, как у вышедшего из лесов человека.

Лева долго обдумывает этот вопрос. Каким сделать его, этот новый взгляд, в какую оболочку завернуть затаившуюся душу? Должен ли это быть бездумный смех? Или наглая ухмылка? Или, напротив, тупое покорное терпение? А может, постараться представить глаза пустыми, начисто лишенными мысли и чувства? Мельцер словно сидит перед экраном, на котором сменяют одна другую разные кинопробы. То одна, то другая пара глаз поочередно загорается перед его мысленным взором. На чем остановить выбор? После долгих колебаний Лева решает действовать методом исключения.

Прежде всего, он откидывает все варианты, содержащие боль, грусть, терпение, а также выражение просьбы и унижения. Причина ясна: эти качества

Меж трех миров

прочно ассоциируются именно с еврейскими глазами. Нахальная ухмылка или бездумный смех подошли бы лучше всего, но Лева не настолько талантливый актер, чтобы сыграть сейчас наглеца или бесшабашного весельчака. Ведь и его собственное настроение, и общее состояние дел вряд ли располагают к веселью. Что же остается? Пожалуй, только злоба. С воображаемого экрана смотрят на Леву хмурые, неприветливые, почти волчьи глаза. Под этим тяжелым взглядом какая-то часть Левиной души отзывается плачем, тихим, как дальняя скрипичная мелодия.

Ночью, после ухода немцев, Мельцер выползает из своего укрытия и приступает к поиску альтернативных документов. Он переползает от трупа к трупу, перетряхивает чужие вещмешки, мародерствует, собирает нужное – сухари, сахар, перловый концентрат. Расстегивает нагрудные карманы гимнастерок, достает бумаги мертвецов. Отбраковав несколько вариантов, Лева наконец находит более-менее подходящее по возрасту и по общему облику лицо. Это русский уроженец Саратова Петр Сергеевич Михайлов, 1910 года рождения. Документы на имя Льва Мельцера рвутся на мелкие клочки и для пущей верности хоронятся в специально вырытой ямке.

Он удовлетворенно вздыхает: работа по созданию нового облика почти закончена. Так кто ты теперь, Лев Зиновьевич Мельцер? Попавший в окружение солдат, уроженец одной из центральных областей России. Высокий, наголо обритый мужчина с неестественно выпяченной грудью, который не задает вопросов, не смеется и не зевает. Руки его застыли в напряженной неподвижности. Он не пьет спиртного, не сходится с другими людьми, предпочитает компании одиночества, спать ложится в сторонке, а моется или справляет нужду в стыдливом отдалении. Всегда хмур и на первый взгляд сердит, но при этом ни с кем не ссорится, ни на кого не сердится, никого не любит. Такое впечатление, что этот человек вообще не испытывает никаких чувств.

Завершив операцию по превращению в гоя, Мельцер-Михайлов выходит на дорогу. Первое испытание своего нового облика он проводит, общаясь со сторожем лесоводства. Старик охотно показывает дорогу на Смоленск. Люди сюда захаживают нечасто, и сторож охотно поговорил бы с гостем, но мрачный высокий человек с загорелым лицом и выбритой до синеватой белизны головой сидит неподвижным истуканом, молчит и хмурится. Попробуй поговори с таким букой... Остается только распрощаться и пожелать счастливой дороги.

– Бывай, дед! – утробно отзывается Михайлов.

Он подхватывает вещмешок и, не оборачиваясь, идет к дороге, чуть сутулящийся сероглазый человек в солдатской шинели, с дочерна загорелым лицом, иссиня-белой свежесвыбритой головой и лиловым носом потомственного алкоголика. «Что ж, – думает он, – пока все в порядке. Я ничем не выдал себя – ни вопросом, ни смехом, ни зевком, ни жестами. Пока что это дается нелегко, но со временем войдет в привычку. Время есть...»

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Времени впереди и в самом деле много – месяцы, годы. Годы жизни в новом облике, жизни без души, без сердца, без чувства, жизни тупой, нелепой и никчемной. Годы жизни в аду.

Мыслимо ли человеку пройти через такое испытание – простому человеку из плоти и крови? И не оставит ли на нем ад свой неизгладимый отпечаток, не высохнет ли криница души, не превратится ли в камень забытое, лишнее, мешающее сердце?

Последние два вопроса – риторические. Конечно, немислимо. Конечно, оставит. Отказ от своей идентичности – в данном случае, национальной – неизбежно ведет к высыханию души, окаменелости сердца, исчезновению субъекта как отдельной духовной сущности, даже если в смысле физиологическом он продолжает дышать, ходить, питаться и испражняться. Мельцер произвел над собой операцию, ампутировав в себе человеческое. Он сделал это ради спасения, но спасся не Лева Мельцер: из леса под Смоленском вышел совершенно другой человек – живой труп или, как сказали бы сейчас, зомби. Оправдано ли такое превращение даже ради спасения жизни в ее чисто физиологическом смысле?

А теперь припомним вышеупомянутую отсылку описываемой ситуации к многовековой еврейской истории. Мы уже не раз говорили о писательской сдержанности Прейгерсона: обычно он избегает излишнего нажима, ограничивается подспудной символикой, явным образом не упирает на исторические и культурные аналогии. Но – не в данном случае. Связь затаившегося в кустах Левы Мельцера с миллионами людей, замученных в течение трех тысячелетий за одну лишь принадлежность к еврейству, кажется автору настолько важной, что здесь он отступает от своего правила.

У Мельцера, здорового, полного сил мужчины, есть намного больше возможностей спастись, чем у беспомощного профессора Эйдельмана из романа «Когда погаснет лампада». Степан Борисович в своем отчаянном стремлении прикинуться гоем уповает лишь на запись в паспорте, которая, как и следовало ожидать, не помогает. В противоположность ему, Лева Мельцеру предоставлено и время для спокойного анализа, и силы для реализации задуманного, и благоприятные особенности ситуации (всеобщая неразбериха, полное поле мертвецов, чьи документы можно присвоить, невозможность последующей проверки аутентичности присвоенного удостоверения и проч.).

Еврейская история полна подобными примерами. Во время кровавых погромов Первого крестового похода (1096) евреев Франции и Рейнских земель резали, как правило, без лишних разговоров, по принципу «увидел – убил» (случай Эйдельмана). В отличие от этого, испанские погромы 1391 года предоставляли евреям и время, и возможность для выбора: те, кто соглашались креститься, оставались в живых, хотя и лишались при этом практически всего имущества. Итог: сотни тысяч *конверсо*, то есть евреев, отказавшихся от своей веры в пользу христианства (случай Мельцера).

В романе печальная судьба профессора Эйдельмана выглядела как приговор Ассимиляции. Автор словно бы говорил: «Смотрите, он ассимилировал на сто процентов – и убеждениями, и поведением, и даже пятым пунктом в

паспорте. Осталось лишь внешнее сходство и обрезание, сделанное ему в младенческом возрасте «из соображений гигиены». И что? Спасла его Ассимиляция? Нет, он лег в ту же расстрельную яму, что и презируемые им местечковые евреи. Спрашивается, стоило ли устраивать этот постыдный маскарад?»

В случае слевой Мельцером ответ далеко не столь очевиден – ведь он в итоге уцелел, в точности, как и крестившиеся евреи Кастилии и Арагона. Значит, стоило поступить именно так? Что ж, конверсо действительно уцелели физически, а в дальнейшем вернули себе богатство и почет при королевском дворе. В их детях и внуках, воспитанных в христианском духе и получивших прекрасное христианское образование (некоторые стали видными духовными персонами и даже претендовали на папство), не осталось уже ничего еврейского – за исключением предательской внешности. Все выглядело прекрасно, если бы не нараставший низовой антисемитизм и учрежденная под его давлением Испанская инквизиция...

Потомки конверсо 1391 года были ассимилированы на сто процентов – и убеждениями, и поведением, и записью в церковных книгах – но их и столетие спустя по-прежнему презрительно именовали «марранами» (то есть свиньями). Конечно, брань на восту не виснет, можно и потерпеть. Куда хуже было с пытками в подвалах инквизиции и с кострами, на которые ни в чем не повинных марранов стали отправлять пачками, начиная с 1480-х годов – то есть почти век спустя после вынужденного крещения их еврейских пра-пра-дедов...

Иными словами, с исторической точки зрения, переход в гои не отменил гибель, но лишь отсрочил ее. Что произошло «на протяжении истории» с зомби, присвоившим себе имя Петра Сергеевича Михайлова, мы не знаем. Прейгерзон обрывает повесть о Льве Мельцере на эпизоде возвращения домой, в Москву. Мы узнаем, что герой повести все-таки выжил, пройдя через ряд труднейших испытаний.

Ему удалось добраться до Смоленска, но город уже был в руках немцев. Тогда Мельцер-Михайлов двинулся дальше, к Москве, но где-то в районе Вязьмы попал-таки в плен и был помещен в концентрационный лагерь. Там ему повезло – попал на кухню, чистить картошку. В 42-ом его отправили в Восточную Пруссию, на кирпичный завод в районе Тильзита, а затем на стройку, каменщиком. Ну, а два года спустя пришла Красная армия, и с нею – свобода...

И все эти годы он не смеялся, не задавал вопросов, не зевал, не сердился. Большую часть времени молчал, а когда приходилось, говорил басом. Молчаливый мрачный человек, всегда один, всегда в сторонке, сам по себе.

Все это бывший Лева рассказывает, сидя за столом, где вся семья, а также многочисленные гости (и в их числе, сам автор) празднуют награждение Шифры званием матери-героини. Он появляется в дверях в самый разгар пиршества.

В общем шуме и гаме никто не расслышал звука входного звонка. Но потом кто-то все-таки разобрал, что звонят, и пошел открывать. Так или иначе, но на пороге комнаты вдруг возник незнакомый русский солдат в мятой шинели –

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

высокий, мрачный, неприветливый человек. Он стоял, и молчал, и с хмурой враждебностью взирал на наше застолье. Мало-помалу все лица повернулись к нему, шум утих, и в комнате воцарилась мертвая тишина. И тогда со своего кресла медленно-медленно поднялась старая Шифра. Мелкими шажками она обошла стол, приблизилась к солдату и очень тихо проговорила:

– Лева...

– Мама! – грубым утробным басом отозвался солдат.

Нечего и говорить, насколько все поражены произошедшей с ним переменой. Гостю устраивают ванну, переодевают в домашнее, усаживают за стол, но он все никак не может выйти из накрепко приставшего к нему зомби-образного облика.

В замершей комнате звучит низкий монотонный голос. Лева говорит неохотно, будто через силу, его руки неподвижно лежат на столе, как мертвые колоды.

«Боже, да Лева ли это?!» – думает Шифра. Что за странный сломленный человек сидит рядом с нею во главе стола?

Но тут за дело берется старший брат, геройский майор Исаак. Сначала Лева отказывается пить, но все настаивают, и он неохотно опрокидывает первую стопку. Где первая, там и вторая... – стопка за стопкой, слово за слово, медленно возвращается прежний человек. Вот он уже слышится его смешок – первый за несколько лет, проведенных с мрачно стиснутыми челюстями. Вот он уже смеется – пока еще неуверенно, вслушиваясь в забытые ощущения.

Не помню, как долго мое внимание занимали другие дела и разговоры, но когда я снова взглянул на Леву, то поразился происшедшей с ним перемене. Он был заметно пьян и говорил, говорил, говорил без передышки, причем обе его руки принимали самое непосредственное участие в разговоре. Они молчали в течение долгих четырех лет, скованные стальными наручниками чужого облика, и вот теперь наконец вырвались на волю. Лева потрясал кулаком, воздевал вверх указующий перст, крутил ладонями, хитро потирал друг о дружку пальцы и тут же собирал их щепоткой, чтобы в следующее мгновение распустить веселым веером. Они казались еще пьяней, чем их хозяин, эти две руки – они были пьяны от свободы. Изменился и голос: он уже не басил монотонно и тупо, но играл разными интонациями – от удивленного восклицания до заговорщицкого шепота. Если бы подвыпивший Лева мог слушать самого себя, то наверняка разобрал бы в своей речи знакомые нотки истомившейся в неволе души.

...Он смеется во весь рот, всем лицом, всем своим существом, сотрясаясь и утирая выступившие слезы. Смеется без остановки, смеется без причины – во всяком случае, без видимой. Хотя нет, причина налицо: Лева совершенно пьян. С затаенной болью и жалостью глядит на него старая мать. Под громовыми раскатами хохота слышится ей тоненький плач измученной сыновней души.

Мудрая Шифра знает: не так быстро. Не в один день, месяц, год вернется к ней ее любимый Лева – да и вернется ли вообще? Внешне сын выглядит целым-здоровым, но выжила ли его душа, сохранилось ли сердце за время, проведенное в чужом и враждебном облике?

Тихо в комнате. Заснул и Лева Мельцер. Или это не Лева? Да-да, во сне его лицо снова натянуло на себя маску Михайлова: брови нахмурены, челюсти плотно сжаты, в углах рта застыло выражение неприязни ко всему живому. Шифра молча смотрит на спящего сына; ее морщинистое лицо печально, на глазах блестят слезы.

...Слезы вскипели в моем сердце. Слезы народа Израиля, на чью долю выпала эта страшная жизнь, эти бесчисленные горести, эта неподъемная тяжесть, которая так давит на наши плечи и которую нам еще долго предстоит нести, едва переставляя подкашивающиеся ноги. Нести бесконечно.

Так, на этой пессимистической ноте заканчивается повесть: «нести бесконечно». Потому что нет у автора ответа на вопрос, как должен был поступить Лева в той безвыходной ситуации на лесной опушке, возле безымянного смоленского ручья. Как нет ответа на аналогичный вопрос в отношении евреев Севильи, Кордовы, Валенсии, Барселоны, к чьим кварталам подступали разъяренные толпы погромщиков и убийц. Как нет его и в множестве других похожих ситуаций, начиная с древнего Египта и кончая Европой середины XX века. Кончая ли? Ведь «нести бесконечно»...

Новая жизнь

Вскоре после завершения этой повести писатель решил, что пришло время завершить и карьеру успешного советского ученого Григория Израилевича Прейгерзона. 69 лет – вполне достойный возраст для добровольного ухода на пенсию. В Горном институте возражали, пытались удержать любимого студентами преподавателя, но Прейгерзон не поддался на уговоры. Теперь, когда дети выросли, получили образование и даже защитили кандидатские диссертации, он не видел необходимости и далее скрывать свое истинное призвание ивритского писателя и свои сионистские убеждения.

Нужно сказать, что и до этого Прейгерзон во многом отбросил прежнюю осторожность. Человека, прошедшего сталинские лагеря, было уже не так-то легко запугать. Теперь он и не думал скрывать свое увлечение ивритом и, особо не скрываясь, давал уроки языка тем, кто проявлял соответствующий интерес. Собственно, эта его деятельность началась еще во время заключения в ГУЛАГе. Можно смело утверждать, что Цви Прейгерзон был одним из тех, кто сыграл важнейшую роль в возрождении подпольного обучения ивриту в СССР.

В первые месяцы 1969 года, уже выйдя на пенсию, он закончил работу над новым учебником «Обогащение угля», отослал рукопись в издательство и вздохнул наконец свободно. Все прежние обязательства были выполнены, дети устроены, семья благополучна; отныне Цви-Гирш Прейгерзон принадлежал лишь самому себе – впервые за долгие годы. В марте он передал уезжающим в Израиль друзьям данные для получения вызова.

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

Мысль об этом наполняла писателя радостью. Скоро он снова – впервые за 55 лет! – увидит берега Земли Израиля, вступит на ее раскаленную почву, вдохнет ее воздух и, главное, услышит иврит – горячо любимый им язык. Он пользовался всеми имеющимися в Советском Союзе скудными возможностями, чтобы держаться в курсе языковых новинок, но, конечно, чтение газет и статей в Публичной библиотеке не может заменить живого общения с языком там, где тот властвует безраздельно.

Услышать иврит на улице, в автобусе, в бакалее, на рынке, обратиться на иврите к случайному прохожему... Поговорить с коллегами-писателями, зайти в Академию иврита, где специалисты-филологи разрабатывают новые языковые модели – у него, Прейгерзона, тоже найдется несколько удачных находок... И, наконец, писать! Писать – свободно, не страшась никого, сидя перед окном, распахнутым в сторону Средиземного моря, в простор Иудейской пустыни, на холмы Самарии, на голубую чашу Кинерета, в долины Галилеи... Возможно даже, писать не от руки, а на ивритской пишущей машинке – не боясь, что ее конфискуют чекисты...

От этих головокружительных перспектив захватывало дух. И это еще не всё – Прейгерзон вновь вспомнил о скрипке! Выпускник Одесской консерватории по этому классу, он уже годы не брал в руки инструмент: на музыку просто не оставалось ни времени, ни сил. Зато теперь, на пенсии...

Днем 14 марта он вернулся домой с набором скрипичных струн; новую жизнь следовало начать без фальши, с подобающей звонкостью. А ночью Цви Прейгерзона увезли на скорой помощи в кардиологическую клинику Первого мединститута с диагнозом тяжелый инфаркт. 15 марта 1969 года ивритского писателя Цви-Гирша Прейгерзона не стало.

Судьба этого человека уникальна и одновременно глубоко типична для всего поколения его сверстников-евреев.

Типична потому, что отражает сложный и неоднозначный процесс жизни меж трех миров – Традиции, Ассимиляции и Сионизма. Три эти мощные силы, каждая из которых то преобладала, то отступала на второй план, то вновь возвращалась в замысловатой комбинации с двумя другими соперницами, определили судьбу многих евреев XX века. Прейгерзон не был исключением.

Его личность формировалась на хасидской Волыни, в маленьком местечке, провинциальном даже по волынским понятиям. Хедер, синагога, еврейские праздники, хасидские песни – в этом мире Традиции он рос и развивался.

Отсюда он уехал в гимназию «Герцлия» – уехал, чтобы вернуться другим человеком. Сионизм и его неперенная база – иврит – полностью завладели воображением юноши. А последующее обучение в одесской гимназии, знакомство с д-ром Клаузнером, участие в сионистских кружках завершили переворот: с высот Сиона Традиция выглядела хотя и заслуживающим некоторого уважения, но, в общем, бесполезным пыльным атавизмом.

Погромы Гражданской войны залили кровью не только украинские местечки, но и сионистскую мечту молодого человека. Сионизм не смог справиться с погромщиками и бандитами – войну и погромы остановила Красная армия. Большевики не имели ничего общего ни с Традицией, ни с Сионизмом; встать под

их знамена означало встать на путь Ассимиляции. Помимо предоставленной Ассимиляцией защиты, трудно было не прельститься другими ее перспективами: открытостью всех и всяческих дорог, провозглашенным равенством – в том числе, и для евреев, возможностью получения такого желанного высшего образования. И демобилизовавшийся из Красной армии Прейгерзон снова сделал свой выбор.

Сталинский террор, а затем и начавшийся возврат к антисемитизму продемонстрировали ему другое лицо большевизма, а значит, и Ассимиляции. Зато похороненное было местечко вернулось к жизни, ожило, заново открыв писателю неистребимую жизненную силу Традиции. А ужасы Катастрофы, полностью уничтожившей еврейское население местечек бывшей черты оседлости, лишь усилили чувство вины и ностальгии по отношению к этому оставленному позади родному миру, откуда Цви-Гирш бежал без оглядки двадцать лет тому назад.

Именно в этот момент он вернулся к ивritу, к Сионизму, к писательству. А сталинские послевоенные кампании (борьба с космополитами и «дело врачей») окончательно отодвинули Ассимиляцию на задний план. Отодвинули, но не уничтожили вовсе. Герои рассказов и повестей Прейгерзона продолжают тянуться к образованию, к интересному делу, к тесному взаимодействию с окружающим миром, так что в этом плане писатель продолжает линию отказа от герметичной замкнутости Традиции.

Итоговая комбинация трех сил, трех миров, к которой приходит зрелый уже Прейгерзон, выглядит примерно так: открытость максимально широкому спектру знаний – от Ассимиляции; подчеркнутое уважение к национальным и духовным корням и обычаям своего народа – от Традиции; осознание жизненной необходимости своей Страны, своей культуры, своего языка и своей государственности – от Сионизма. К этому соразмерному и гармоничному триединству, ставшему результатом непростой судьбы и сложной духовной эволюции, привела писателя сама жизнь.

Что касается уникальности его судьбы, то она выглядит очевидной, хотя и, увы, далеко не всем, от кого зависит утверждение этого факта в сознании многих.

Дело тут даже не в беспримерном личном подвиге человека, хранившего верность ивritу в невозможных условиях сталинской России. Дело еще и в том, что Прейгерзон, как уже не раз говорилось выше, был, пожалуй, единственным писателем, предметом творчества которого стало местечко в его последние два с половиной – три десятилетия. Единственный летописец этого интереснейшего культурного явления, в одиночку продолживший дело Шолом-Алейхема, Й. Л. Переца и Менделе Мохер-Сфарим, он оставил уникальное живое свидетельство увядания и кончины еврейских местечек бывшей черты оседлости.

Написанное на иврите, это свидетельство обращено к израильтянам, то есть к тем, кого, по идее, должны обязательно интересовать все аспекты истории собственного народа. А коли так, то израильские школьники, студенты, историки просто не могут пройти мимо Прейгерзона: ведь кроме него, как отмечено выше, о последнем периоде местечек не писал никто.

Рано или поздно так и случится, но пока что современная, еще очень молодая израильская историография преимущественно обращена лицом внутрь Страны, к яростному внутривнутриполитическому дискурсу, к партийной борьбе и к

Портрет ивритского писателя на фоне эпохи

сотворению (а затем и последующему разоблачению) всевозможных исторических мифов. Когда-нибудь мы переболеем и этой «детской болезнью», и тогда уникальный писатель и выдающийся человек Цви-Гирш Прейгерзон займет наконец подобающее ему место на школьных партах и книжных полках.